Н. А. СОТНИКОВ

И дольше века длится век...

Николай Сотников

«И дольше века длится век…». Пьесы, документальные повести, очерки, рецензии, письма, документы

«Алетейя»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Сотников Н. Н.

«И дольше века длится век…». Пьесы, документальные повести, очерки, рецензии, письма, документы / Н. Н. Сотников — «Алетейя», 2017

ISBN 978-5-906860-44-6

Николай Афанасьевич Сотников (1900–1978) прожил большую и творчески насыщенную жизнь. Издательский редактор, газетный журналист, редактор и киносценарист киностудии «Леннаучфильм», ответственный секретарь Совета по драматургии Союза писателей России – все эти должности обогатили творческий опыт писателя, расширили диапазон его творческих интересов. В жизни ему посчастливилось знать выдающихся деятелей литературы, искусства и науки, поведать о них современным читателям и зрителям. Данный мемориальный сборник представляет из себя как бы книги в одной книге: это документальные повествования о знаменитом французском шансонье Пьере Дегейтере, о династии дрессировщиков Дуровых, о выдающемся учёном Н. А. Морозове, драматическом артисте Илларионе Певцове, о выдающемся деятеле Русской православной церкви патриархе Алексии Первом, о главе буддийской церкви в СССР с 1956 по 1969 годы Еши-Доржи Шарапове, о многих других людях, встреченных на перекрёстках XX века. Впервые воедино собрана публицистика и критика Н.А. Сотникова, все его основные драматургические произведения. Сборник разнообразно и оригинально оформлен. Все тексты публикуются в авторских редакциях.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906860-44-6

© Сотников Н. Н., 2017
© Алетейя, 2017

Содержание

Эпиграфы ко всей книги 8
Николай Ударов. Друзей архивы разбирая 9
Краткая автобиография Н. А. Сотникова 11
Леонид Соболев. Творческая характеристика писателя Н. А. Сотникова 14
Н.А. Сотников. С берегов Невы до берегов Шпрее 16
Вдохновение 16
Н.А. Сотников. Вместо предисловия 16
Н.А. Сотников. Второе предисловие к одним и тем же дням 26
Н.А. Сотников. Война пришла в наш дом не сразу 32
Н.А. Сотников. Окопные тетради 35
Н.А. Сотников. Три встречи с будущим патриархом 43
Н.А. Сотников. Церковь зовёт к защите Родины 58
Н.А. Сотников. Зоопарк в антракте между бомбёжками 58
Марина Кузнецова. В зоопарк блокадный – несколько шагов 62
Николай Ударов. Заповедник самых нежных лет 63
Н.А. Сотников. Ботаники вступают в бой 64
Марина Кунецова. Ботанический сад сегодня, или Доро́гой славы и побед 67
Николай Ударов. Ода Ботаническому саду 68
Н.А. Сотников. Бронзовая стража 70
Николай Ударов. «Все скульптуры – на своих местах 73
«Вот мой отчёт перед Победой…» 74
Н.Н. Сотников. Таинственная киностудия блокадного Ленинграда 76
Н.А. Сотников. На рассвете нашей Победы 78
Н.Н. Сотников. На пороге новых испытаний. Послесловие сына спустя 70 лет 81
Н.Н. Сотников. Ещё одно послесловие сына 84
Н.А. Сотников. «Пишу тебе письмо из Ленинграда». (Из письма Н.А. Сотникова его родной сестре А. А. Ершовой в Кисловодск) 85
Н.А. Сотников. Город на Неве родным был и остался 86
Николай Ударов. Песня о Московских воротах 87
Николай Ударов. Победы ровесник, сын века ровесника 88
Н.А. Сотников. Памятные встречи на дорогах судьбы. Очерки, стенограмма беседы, творческий портрет, этюд 89
Виктории полтавской юбилей 89
Как я стал котовцем 97
Н.Н. Сотников. «На той далёкой на Гражданке…». (послесловие сына спустя 95 лет после времени действия и 45 лет после написания) 99
Н.А. Сотников. «Пусть мой труд остановки не знает…» (Беседа, состоявшаяся с Н. А. Морозовым в Ленинграде в 1934 году) 103

Н.Н. Сотников. Ломоносов лет совсем недавних 112
Т.Г. Захарова. «Самый большой архив из академиков». (Из письма научного сотрудника дома-музея Н.А. Морозова Г. Г. Захаровой Н. Н. Сотникову) 115
Н.Н. Сотников. Читая письмо из Борков Ярославских 116
Н.А. Сотников. «Довоенная пора – самая отрадная!». (Из письма Н. А. Сотникова своему сыну Н. Н. Сотникову) 117
Н.Н. Сотников. Газета становится книгами 121
А. Н. Рубакин. Отзыв русского парижанина. (Из письма доктора А. Н. Рубахина Н. А. Сотникову) 124
Н.А. Сотников. Напутствие путнику. (Как я работал над фильмом о жизни буддистов в СССР) 126
Н.А. Сотников. «В историческом фильме нет мелочей!». Беседа Н. А. Сотникова с творческими сотрудниками киностудии «Ленфильм» о сценарии фильма «Певец из Лилля.» (Стенографические записи) 139
Несколько вводных слов 140
Парижская коммуна, её герои и певцы 142
Имя им всем – шансонье 145
Пьер Дегейтер – каким же он был?. 151
Конец ознакомительного фрагмента. 155

Николай Сотников «И дольше века длится век…». Пьесы, документальные повести, очерки, рецензии, письма, документы

Автор проекта, составитель, автор примечаний и комментариев *Н. Н. Сотников,* ответственный секретарь Комиссии по литературному наследию Н. А. Сотникова

Эпиграфы ко всей книги

Да кто ж его отец?
Я. Б. Княжнин
Эпиграф к «Капитанской дочке» А. С. Пушкина

… Что видишь, всё твоё; везде в своём дому, не просишь ни о чём, не должен никому.
М. В. Ломоносов *(Из «Стихов, сочинённых на дороге в Петергоф»)*

«Я был революционером, потому что я не мог им не быть».
А. Н. Рубакин, *профессор медицины, очеркист, прозаик, член Союза писателей, сын выдающегося книговеда Н. А. Рубакина*

«Когда я вырос, и отца не стало, я, приезжая в родной аул Цада, любил ходить его тропами. И тогда наши старики-аксакалы сказали мне: "Не ходи тропами отца. Ищи свои тропы!”»
Расул Гамзатов *(Из телепередачи).*

Дорогому Николаю Афанасьевичу с любовью Расул Гамзатов. 26.XII-1973.
(Надпись на авантитуле первого однотомника в Москве «В горах моё сердце» Расула Гамзатова)

«Я бы очень хотел, чтобы ты подхватил мои труды и по возможности их продолжил».
Н. А. Сотников – *своему сыну Н. Н. Сотникову в день последней их встречи в июне 1978 года.*

«Это очень важно – отцовское дело продолжать».
Олег Лойко, *профессор, поэт, прозаик. Изречение из романа «Франциск Скорина» (перевод с белорусского).*

«Воспитание дано мне было отцом моим по тому веку наилучшее»
(Из монолога Стародума, героя пьесы Дениса Фонвизина «Недоросль»)

По отцу и сыну честь.
Одно из самых популярных русских изречений XVIII–XIX веков

Николай Ударов. Друзей архивы разбирая

Меня взять на опёку просят
осиротевшие слова.
Ещё одна людская осень
предъявит нам свои права.
Мне говорят – я научился
чужие судьбы понимать.
Мне говорят – во мне открылся
дар эти судьбы продолжать.
Мне говорят: «К чужим архивам
ты прямо сердцем прикипел.
Вот – настоящая стихия
для важных и отважных дел!»…
Ко мне заказы поступают.
Отказ встречают мой в штыки.
Никак того не понимают:
не все архивы мне близки!
Ведь я, верша свой труд громадный,
гражданский долг свой выполнял
и труд учителя с отрадой
и вдохновеньем продолжал.
Спасал я рукописи друга,
который для меня – как брат…
И как бы ни было мне трудно,
трудом я этим был богат.
И вот теперь – *архив отцовский*…
Работать с ним всего сложней.
Разнообразный, разношёрстный,
он всех архивов мне родней.
Творений многих я свидетель,
но судьбы разные у нас.
Проблема вновь – *«Отцы и дети»*!
Огонь проблемы не угас.
Восстановить не всё сумею,
но постараюсь всё спасти,
чтобы крылатые идеи
до дней грядущих донести.
Надеюсь, что найдётся кто-то,
чтоб мой архив поднять со дна.
Такая адская работа
для сердца верного нужна.
Да, нет забот неблагодарней,
но благородней нет забот!
…Из океана цвет янтарный
волна однажды принесёт.

Николай Ударов[1]

[1] Николай Ударов – поэтический псевдоним Н. Н. Сотникова.

Краткая автобиография Н. А. Сотникова

Я, Сотников Николай Афанасьевич, являюсь ровесником века. Поэтому все события моей жизни очень легко просчитываются. Я вырос в семье революционера, активного участника событий в Горловке в 1905 году. Моя мать Васса Григорьевна была верной соратницей отца, потомка запорожцев, токаря-ремонтника Афанасия Григорьевича. С отроческих и даже детских лет я воспитывался в духе революционном, только ещё не знал, как и где я смогу приняться самое активное участие в событиях Гражданской войны. А тут на короткую побывку в Полтаву, где мы тогда жили, прибыл мой дальний родственник и с гордостью сообщил, что он воюет под знамёнами самого Котовского! Выбор мною был сделан сразу же, и мы вдвоём пробрались в расположение бригады Котовского. Один наш путь – целая серия полнометражного фильма. Путь этот был дальний и опасный, но он многому научил меня, став своеобразной школой перед началом боевых действий.

У людей моего поколения невероятно сложные, полные драматургических ходов биографии. Я знал одного нашего писателя, у которого в анкете всё просто: гимназия, Петроградский университет, а дальше – исключительно *«литературная работа на дому»,* заветная цель каждого преданного литературе человека. Мне заполнять анкеты не очень-то просто: никаких граф не хватит! Поэтому я некоторые страницы своей биографии сокращаю, можно даже сказать, упрощаю. К тому же мне довольно часто приходилось в одно и то же время совмещать разные должности, когда – штатные, когда – договорные, а когда – и чисто общественные.

Для автобиографии художественной время ещё не пришло, как и для мемуаров в собственном смысле этого слова. Посему ограничусь короткими строками.

Одно время был в рядах Южной группы Якира. Ранен, контужен, дважды болел тифом. Чудом остался жив: видимо, сыграл свою добрую роль крепкий организм и добрая запорожская наследственность. У нас в роду были все долгожители. Демобилизовался я в 1921 году. Был направлен в Институт народного хозяйства, но мне, прирождённому гуманитару, там было никак не прижиться – всё тянуло в мир литературы и искусства. И вот появилась возможность приобщиться к миру кино в Госкинотехникуме, предшественнике ВГИКА. В техникуме я и работал, и учился, постигая многие азы киноискусства и кинопроизводства, что мне очень в дальнейшем пригодилось.

Приобщился я в Москве и к издательскому делу, что тоже писательству шло на пользу. А тут появилась возможность переехать в Ленинград, продолжить издательскую работу и заняться учёбой в первоклассном по тем временам учебном заведении – Высших курсах искусствознания при Институте истории искусства. Среди наших учителей были первоклассные педагоги! Достаточно сказать, что мне посчастливилось учиться истории и теории литературы и отчасти – кино у Юрия Тынянова, а истории архитектуры, прежде всего – Петербурга, Петрограда, Ленинграда – у Петра Николаевича Столпянского. С некоторыми своими однокурсниками (от слова не только КУРС, но и КУРСЫ) я подружился, и дружба эта продолжается до сих пор.

К величайшему сожалению, эти Курсы слили с университетом, и нам предложили стать *студентами* (а мы были как бы *слушателями*, даже в какой-то мере аспирантами). На это предложение никто не согласился: мы были уже не юнцы, многие штатно работали, публиковались и начинать всё с нуля не могли.

Так я остался без полнокровного высшего образования, о чём весьма сожалею, но учился и продолжаю учиться с вдохновением юноши.

Вторично я стал добровольцем Красной Армии уже в 1941 году – сперва в Народном ополчении, а затем в общеармейских рядах. Мой путь военкора и военного киносценариста

оборвала тяжелая контузия, после которой пришлось долго и упорно лечиться. Боевые события вступили, говоря языком драматургии, в развязку, и я добился отправки меня на решающий, Первый Белорусский, фронт, с войсками которого и вступил в поверженный Берлин.

Наши киносценаристы и особенно кинодокументалисты так строят свои киноленты, что у зрителей, особенно молодых возрастов, может возникнуть невольное ощущение: вот отсалютовали личным оружием у стен рейхстага и – сразу же на колёса и домой! Демобилизоваться, прежде всего дисциплинированному, тем более отличившемуся офицеру было очень тяжело! Я лично просто потерял счёт рапортам с просьбой об увольнении, но вернулся в родной город на Неве почти через 14 месяцев после победного салюта. Горжусь, что именно как журналист был награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

И всё-таки я всюду и всегда оставался прежде всего писателем. Сравнительно недавно Книжная палата официально подтвердила мой 40-летний литературный стаж. Описания были столь тщательны, что я был, признаться, удивлён: пришлось вспомнить о публикациях, давно мною позабытых.

И всё-таки по материальным и семейным причинам я не мог полностью переключиться на домашнюю творческую работу. Правда, в работах штатных на киностудиях, в аппаратах Правлений Союза писателей, как и в довоенные годы – в газетах и издательствах я продолжал творческую учёбу, расширял круг знакомств, овладевал новыми приёмами работы, в том числе и педагогической. С начала 50-х годов эта работа протекала в Московской секции драматургов, был Ответственным секретарём Комиссии по драматургии Союза писателей СССР, около девяти лет – на посту Ответственного секретаря Совета по драматургии театра, кино, радио и телевидения Союза писателей России.

Обозначилась в моей послевоенной судьбе и новая для меня сфера творческой деятельности – перевод драматургических произведений писателей народов России, прежде всего Дагестана, Татарии, Марийской и Чувашской республик, переводил и украинских драматургов, с детских лет владея украинским языком. Остальные переводы я осуществлял по подстрочникам, но с непременным погружением в культурно-бытовые реалии того или иного народа. Мечтаю написать статью обобщающего характера об особенностях художественного перевода именно пьес – эту специфику я чувствую всё острее и острее.

И всё же главным было и остаётся личное творчество. В настоящее время репетируется моя пьеса *«Встреча в веках»* об истории создания М. И. Глинкой оперы «Иван Сусанин», продолжается многолетний и, пожалуй, самый заветный труд над темой истории гимна «Интернационал». Одновременно работаю и как очеркист: речь идёт о циклах *«Были пламенных лет»* и *«Памятные встречи».* Отдельные главы и фрагменты печатались в газете «Литературная Россия», в журналах «Урал», «Волга», «Север». Не оставляю и дорогой для меня темы истории династии Дуровых. Одной из первых передач нашего телевидения для Интервидения была большая передача с участием Натальи Дуровой. Автором телесценария предложили выступать мне. Так я впервые в жизни стал драматургом телевидения.

Не прерываю своей дружбы с радиожурналистами и в Москве, и в тех городах, куда направлялся в творческие командировки. В самое последнее время приобщился к устным выступлениям в самых разных аудиториях по линии Бюро пропаганды литературы и общества «Знание», так как ценю живое общение с будущими возможными читателями. Мне очень помогают реакция аудитории, вопросы, записки. Всё это писателю даёт отличный творческий заряд!

По мере сил и возможностей не забывал и своей работы в качестве театрального рецензента, прежде всего – для журнала «Театральная жизнь». Порою, но всё же редко, реже, чем хотелось бы, выступаю и с публицистическими статьями и проблемными очерками. Некото-

рые из таких публикаций имели большой общественный резонанс. Горжусь тем, что после публикаций одного очень острого материала мне даже угрожали по телефону! Даже номер где-то нашли, причём, домашний!

Собирался написать деловую краткую автобиографию, но, как видите, не получилось – вышло нечто похожее на публицистическую статью, на радиовыступление. Что поделать – таков творческий темперамент у человека в 66 лет.

Главное, что работа идет, что планы хотя и не так быстро, как бы хотелось, выполняются. Бойко стучит моя пишущая машинка – подарок командования 61-й армии *«За освещение Берлинской операции»,* как было сказано в приказе. Эта пишущая машинка связует для меня времена моей судьбы.

Н. А. Сотников
1966

Леонид Соболев. Творческая характеристика писателя Н. А. Сотникова

Я знаю Николая Сотникова с довоенных лет как редакционного работника, киносценариста, неутомимого общественного деятеля в Доме печати. Меня всегда поражали разносторонность его интересов, глубокая и обширная эрудиция.

Какие бы явления в жизни он ни брал в качестве предмета своих литературных произведений (многочисленных очерков, очерковых книг, киносценариев, театральных статей и рецензий, пьес и новелл), к каким бы периодам жизни своего народа он ни обращался, он прежде всего искал в человеке, в природе, в искусстве прекрасное.

Повествует ли он о военных подвигах бойцов и командиров в своих «Окопных тетрадях», в фильмах «Прорыв блокады Ленинграда» и «Снайперы», повествует ли о трудовых подвигах сталевара Ивана Кайолы в киноочерке «Грядущему навстречу», горьковских земледельцев в киноочерке «Иван Емельянов, крестьянский сын», он непременно подчёркивает в своих героях богатство натуры, смелость и мужество, изобретательность ума, силу русского народного характера, увлечённость в труде.

Любовь к гор оду на Неве писатель пронёс через всю свою жизнь. По его фильмам можно изучать историю города и историю искусства. Это прежде всего киноленты «Город русской военной славы», «Город поэта», «Зодчий Росси», «За рекой Сестрой». Автора всегда волнуют следы героической славы и одновременно светлые приметы новизны настоящего.

Выдающиеся люди русской науки и русского искусства относятся к числу любимейших героев Николая Сотникова. Это Михаил Глинка, основатель дуровской династии Владимир Дуров, учёный-энциклопедист, прозаик и поэт народоволец академик Николай Морозов. Следует отметить, что зачастую довольно сложные вопросы Сотников, не упрощая, не делая избыточных сокращений, делает увлекательными и понятными для самых широких кругов зрителей и читателей. А ведь дар популяризатора – один из редчайших в художественном творчестве!

Нельзя не сказать о глубоком интересе писателя к народному творчеству. Ещё в довоенные годы его внимание привлёк народный хор «Гдовская старина», созданный учителем Савельевым, который стал героем киноочерка «Народный учитель». В блокадные годы писатель вместе с режиссёром С. Морщихиным организует ансамбль 42-й армии, который был известен не только в армейских дивизиях и полках, но и в масштабах Ленинградского фронта и блокадного города. Участники этого ансамбля являли собой редчайший союз самодеятельной непринужденности и даже лихости и высокого профессионализма, являясь артистами-профессионалами. Сотников фактически становится заведующим литературной частью музыкального коллектива, составляет песенный и чтецкий репертуар, сам пишет тексты в прозе и в стихах. Широко известной была его боевая песня «*Вперёд, сорок вторая, в году сорок втором!*»

В послевоенные годы, являясь ответственным сотрудником Правления Союза писателей России, Сотников большое внимание уделяет художественной самодеятельности, народным театрам, проводит всероссийские семинары, отбирает и редактирует пьесы, готовит к печати репертуарные сборники, которые издательство «Советская Россия» выпускает в свет большими тиражами. Особое внимание Сотников уделяет дефицитному жанру комедии.

У каждого автора есть своя главная, заветная тема. Такой темой для Сотникова стала история создания гимна «Интернационал». В 1928 году ему посчастливилось лично познакомиться с автором музыки гимна Пьером Дегейтером. Все минувшие с той поры годы

писатель занимается драгоценной для него и для всех нас темой: сценарий фильма, пьеса, десятки очерков, радиовыступления… Воистину тема оказалась неисчерпаемой.

Сотников обладает очень редким даром – даром литературной педагогики. Бывает, что автор и опыт значительные имеет, и довольно широкие познания, и общефилологическая основа у него есть, а найти контакты с молодыми авторами не может, не хватает терпения, деликатности, сосредоточенности, можно сказать, и самоотверженности. Увы, встречаются даже случаи, когда литературный педагог «заимствует» навсегда у своего ученика какой-то особенно яркий образ, сюжетный ход и т. д. Сотникова отличает абсолютное бескорыстие. Он готов в ущерб своим личным творческим делам неделями, а то и месяцами совершенствовать драматургические тексты своих учеников. К тому же он оказался и умелым и инициативным организатором литературной учебы: участники семинаров слушают лекции видных театроведов, литературоведов, историков, совершают литературно-краеведческие экскурсии, непременно посещают несколько наиболее интересных и поучительных в педагогическом отношении спектаклей в местных театрах. Я уже не говорю о бесконечных организационных, административных и даже финансовых вопросах, которые приходится решать быстро и чётко, по-фронтовому.

Стоит ли удивляться тому, что Сотникова знают и любят во многих писательских организациях России. Учеников у него десятки, и каждому он старается помочь, вникая даже в бытовые, жилищные дела. Один дагестанский драматург-сатирик прямо заявил, что «Николай Афанасьевич – наш всероссийский отец»! Это очень редкое и ценное свидетельство признания.

Недаром поиски прекрасного в человеке, во всех многообразных проявлениях его духовной жизни и составляют существо и смысл творческой деятельности Николая Сотникова.

Леонид Соболев[2]

[2] Леонид Сергеевич Соболев (1898–1971) – прозаик, очеркист, Лауреат Государственной премии, Герой Социалистического Труда, организатор и руководитель Союза писателей России, депутат и член Президиума Верховного Совета СССР. *Здесь и далее все постраничные примечания Н. Н. Сотникова.*

Н.А. Сотников. С берегов Невы до берегов Шпрее

Вдохновение

Н.А. Сотников. Вместо предисловия

Воспоминания о первом дне войны у многих авторов проникнуты благостным чувством покоя, красоты окружающей жизни, очарования прелестным июньским днем… И у меня этот последний мирный день оставил добрый след в душе. В превосходном настроении я проснулся в уютной комнате Дома творчества писателей на Карельском перешейке и сразу направился к берегу моря.

Было мне тогда сорок лет (сорок первый ещё не исполнился), чувствовал я себя физически неплохо, был полон сил и творческих планов, а главное – наконец-то пришли и опыт, и мастерство, и, что самое для писателя главное, – признание. На «Ленфильма» заканчивался производством мой фильм о сталеварах Коробовых[3]* *«Отец и сын». Одновременно* с ним (сейчас такую ситуацию и представить себе нельзя!) шла работа над вторым фильмом – *«Певец из Лилля»* о славном шансонье Пьере Дегейтере, авторе музыки гимна «Интернационал». Продолжал свою работу и как кинодокументалист, сосредоточив внимание на историко-архитектурной теме. Приступил к автобиографической повести и одновременно собирал материал о жизни и творчестве моего кумира в музыке Михаила Ивановича Глинки… Впервые я обрёл финансовую независимость, что для писателя чрезвычайно важно – два полнометражных фильма это к тому же и весьма солидные гонорары.

Конечно, о том, что война будет, я не сомневался. В этом меня убеждал и мой военный опыт, немалый, прямо скажем, для сугубо штатского по духу и настрою человека: ведь я был участником всех походов и кампаний за исключением Халкин-Голла и Хасана! Но и ещё раз но – всё-таки теплилась надежда, что Гитлер не решится воевать на два фронта, а в Западной Европе он увяз основательно.

Пока живу – надеюсь. Этот девиз древних питает душу каждого человека, если он не закоренелый пессимист. И вот я стою у Балтийских вод и просто-напросто любуюсь игрой волн, красками неба, силуэтами Ленинграда и Кронштадта. По прибрежному шоссе бегут автомашины, переполненные ленинградцами, торопившимися на отдых. В соседнем пионерлагере звенят ребячьи голоса…

Я постоял немного и спустился к воде. На песчаном пляже поудобней устраивались загорелые купальщицы. Одна из них стояла на мостике, готовясь к прыжку в воду как бы повторяя собой репинскую «Купальщицу» – этюд, написанный великим художником в соседней Куоккале. Из репродукторов неслась ария: *«Я вас люблю, люблю безмерно…»*. Как вдруг эту чарующую мелодию сменила та самая памятная речь Молотова: на рассвете напал на нас лютый враг, безжалостно бомбивший наши мирные города…

Надо было куда-то бежать, что-то предпринимать, срочно сниматься с места. Оставаться здесь в роли отдыхающего было невыносимо! Но случилось так, что я сразу не смог найти своего места в мгновенно разгоревшейся борьбе. Об этом я скажу несколько ниже, а пока постараюсь припомнить, что же я ещё видел в тот день. В памяти наступает какой-то обрыв. До сих пор не восстановить некоторые картины и эпизоды, хотя на память, натре-

[3] В сценарии они Колобовы, в фильме – Удало́вы. Этот фильм в копиях шёл в городе и на Ленинградском фронте.

нированную издательской, газетной, литературной и кинематографической профессиями, я никогда не жаловался. Столь велико было переживание!

Я отправился в Дом творчества и стал спешно собираться в Ленинград. Но выехать отказалось не так-то просто – шоссе оказалось битком забито, а поток машин двигался уже в другом направлении – к Ленинграду. И машины мчались *другие*, и публику везли *иную.* Это начальство, отдыхавшее на Карельском перешейке, со всеми багажами начинало свой путь в эвакуацию. Оно, начальство, панически покидало райские уголки для отдыха, справедливо рассудив, что как бы ни сложились боевые действия, а уж Карельский-то перешеек тылом никак не будет и скорее всего станет наоборот – театром военных действий.

Моя текущая литературная работа, как я уже только что говорил, носила сугубо мирный характер. Это вовсе не означало, что я совсем не писал о войне, о подвигах, о славе, но писателем так называемой *оборонной тематики* (было такое определение в довоенные годы) меня назвать было никак нельзя.

А о чём писать сегодня – я ещё не знал и в первые дни войны очень томился без нужного для обороны страны дела. И вдруг я узнаю, что в одной из школ Выборгского района идёт запись в добровольческий полк ленинградцев. *Формировалось Народное ополчение*, и я понял, что моё место в его рядах.

Дома у меня хранилось военное обмундирование, в котором я ещё, казалось, недавно участвовал в Финской кампании. Одевшись по форме, я едва успел встать в шеренгу бойцов одетых ещё в гражданские костюмы, и тут же был выведен из шеренги. Как работник фронтовой печати, я имел звание *капитана.* У самого же командира формирующейся роты было только три «кубика» *старшего лейтенанта.* Мы даже не поняли сразу, кто кого должен приветствовать первым.

– Выйдите, выйдите из строя, товарищ капитан, – приказал мне мой новый командир – старший лейтенант. – Обратитесь в штаб полка за назначением.

Меня направили к парторгу полка – тоже сугубо штатскому человеку преподавателю политических дисциплин в педагогическом институте.

– А почему вы не обратились в свой. Октябрьский, райвоенкомат? – деловито спросил меня парторг-капитан.

– В Октябрьском районе сказали, что я призыву не подлежу, а в Дзержинском, к которому относится Союз писателей, проявлена странная инициатива – набран стрелковый взвод очкариков, а меня после просмотра моих документов послали опять в Октябрьский райвоенкомат. Так я и остался – ни к селу, ни к городу. И вдруг случайно узнал о вашем полке.

– У нас уже нет начсоставских должностей в политчасти, – доложил парторг комиссару. – Пускай идёт домой, он – ограниченно годный по возрасту и по здоровью.

– Погоди ты отсылать его, – кивнул в мою сторону комиссар полка. По профессии он был преподавателем в институте иностранных языков. – Писатель может пригодиться и нам в части. Пусть пока побудет с бойцами.

И комиссар велел отыскать для меня какую-нибудь подходящую вакансию.

Ночь я провёл на нарах, наспех установленных в школьном классе с отодвинутыми к стенам партами. Рядом со мной отдыхали ополченцы – люди самых неожиданных профессий: балетмейстер из какого-то ансамбля, инженер-конструктор из проектного института, виолончелист из театрального оркестра. Были там и техник с электролампового завода, и помощник режиссера с киностудии «Ленфильм», и рабочий мельничного комбината, и водитель трамвая… Хорошо, что я с ними познакомился уже в первую ночь. Нигде люди так быстро не знакомятся и не сходятся между собой, как в пути и в армии.

… К утру отыскалась только одна штатная единица, пока ещё свободная – *переводчик с немецкого языка.* Я призадумался: «А что я буду делать, пока появится первый пленный

фашист? Конечно, надо бы освежить в памяти знания немецкого языка ещё с далеких времен учебы моей в Полтавском реальном училище…».

И вдруг комсорг полка мне говорит:

– Ау нас в клубе показывали Ваши фильмы об архитектуре Ленинграда. Всем этим красотам грозит непосредственная опасность. Что если Вы такие беседы среди личного состава проведёте – вроде бы об истории архитектуры и искусство, но с военно-патриотическим уклоном. К тому же у нас не только ленинградцы – есть и из области люди, и иногородние появились. Впоследствии их будет ещё больше. Да и сами-то ленинградцы, прямо скажем, очень многого по истории нашего города не знают!

– Вот это дело! Это нам очень пригодится на первых порах! – решил комиссар и благословил мою лекторскую работу.

– Хорошо бы устроить несколько мысленных прогулок с бойцами по улицам и площадям Ленинграда, – предложил я, и тотчас же моя идея была, как любил говорить наш комиссар, «затверждена». И я стал готовиться к беседам. Мне разрешалось пользоваться школьной библиотекой, делать выписки из книг, справочников… Я тут же пересмотрел каталоги и развёл руками – книг мало, и все они *для такого* разговора не годились. Тогда мне позволили добывать материал и на стороне – ходить в центр города в музеи, в Публичную библиотеку… Военная служба, как вы видите, первое время меня не очень-то обременяла. Но всё равно – всё надо было делать чётко, быстро, по-военному.

Утром, отправляясь на поиск необходимых книг, я видел, как во дворе школы-казармы ополченцы очищали от обильной смазки только что выданные им винтовки-трехлинейки и внимательно слушали беседу того самого старшего лейтенанта, который вывел меня из строя. До чего интересным показался мне разговор этого командира-строевика!

– Стрельба по самолету! Удобнее всего с колена. Цель сама нанизывается на пулю – на малой высоте, конечно. Не выйти ему из пике – земля для него гроб! Стрелять по танкам – стрелять только по щелям! Иначе – напрасный перевод патронов! Залить свинцом глаза врагу-водителю! И – баста!

Что ж, молодец! Просто, наглядно и доходчиво. Есть чему поучиться. Но в моих темах особенно-то упрощать нельзя! Ни в коем случае нельзя! Хотя бы потому, что от слишком простого изложения сразу же притупится у слушателей внимание. Среди них почти все закончили школу, немало и тех, у кого вузовское образование, в том числе и гуманитарное. Такие слушатели особенно к коллегам ревнивы, придирчивы. С другой стороны, превращать наши беседы в семинары профессора Столпянского тоже не дело! И тут меня осенило: зачем я буду идти по второму, по третьему кругу в поисках материала – ведь у меня дома бережно хранятся конспекты лекций Столпянского, записи его ответов на вопросы слушателей (нас на Высших курсах[4] *студентами* не называли – величали *слушателями*, а профессора к нам обращались не иначе как *«коллеги»)*…

И я отправился к себе домой на Мойку. Мое писательское жилище выручило меня тогда, выручит и не раз в дальнейшем. Все-таки что ни говори, а то, что писатель собрал *для своей собственной творческой работы,* всегда ему будет дороже и сподручнее любых методических пособий, учебников и монографий. Почему? Да прежде всего потому, что материал уже «пропущен» через конкретно-образное горнило, переплавлен, обработан, ориентирован на восприятие широким читателем, зрителем, слушателем. Вот в чём главная разгадка!

Два-три посещения дома на Мойке дали отличные результаты. Я был готов к беседам и спросил у своего нового начальства: «Когда же выберется время для моихсообщений?»

Имеются в виду Высшие курсы искусствознания при Институте истории искусств.

---

[4] Имеются в виду Высшие курсы искусствознания при Институте истории искусств.

– В вечерние часы, перед сном, – посоветовал парторг полка. – Я сам приду к Вам на Вашу первую беседу.

И вот она состоялась, моя первая такая беседа. Называлась она *«На берегу пустынных волн…»*. И представьте себе, слушали меня коренные ленинградцы внимательно, хотя, конечно, сам предмет в самых общих чертах им был знаком с младших школьных классов.

Начал я с мысленной прогулки к «Медному всаднику». Подразумевалось, что *«Петру Первому Екатерина Вторая»* поставила этот монумент там, где *«на берегу пустынных волн стоял он дум великих полн и вдаль глядел…»*.

Бытует легенда, будто Петербург действительно возник на пустом месте. Дело обстояло иначе. *«Берега пустынных волн»* – это скорее поэтический образ, гипербола, нежели определение исторического положения нашего приневского края.

Что же могло предстать взору Петра Первого на этом месте? На берегах Невы отнюдь не *«чернели избы здесь и там – приют убогого чухонца»*. Здесь в ту пору насчитывалось до *пятидесяти* поселений! Недаром местные жители так говаривали: «Велик наш край приневский, больно велик! Почитай, деревня на деревне стоит, погост на погосте…».

Стало быть, земли эти наши, кровные, древнерусские. Петр Первый отвоёвывал у шведов наше же достояние, утраченное недалёкими коронованными предшественниками. И мы, русские, а вместе с нами и все советские бойцы, представители других национальностей нашей Родины, должны отстаивать *наши исконные владения*, должны это понимать, верить в это, как бы ни изощрялась гитлеровская пропаганда, утверждавшая, что этот край должен быть возвращен европейским владельцам. Да, такая линия в пропаганде немецких фашистов прослеживалась вплоть до самого конца войны. Для читателей молодых это, возможно, *новый аспект* в восприятии истории Великой Отечественной войны. Что ж, как ровесник века, как фронтовик Второй мировой войны могу со всей ответственностью сказать, что нас всех ждёт ещё немало больших и малых открытий не только в истории далекого прошлого, но и в истории совсем, казалось бы, недавней.

Ну, об этом я говорю, выступая сейчас, в 70-е годы, а тогда, в первый военный год, я старался рассказать моим слушателям, среди которых были и коренные ленинградцы, и жители иных городов и весей, и образованные, начитанные люди, и те, кто, к сожалению, довольствовался весьма скромными, конспективными и упрощенными сведениями по истории Земли Русской. Впрочем, я их вовсе не упрекал – в конце концов, это просто чудо, что мне посчастливилось быть учеником профессора Столпянского. У меня сбереглись конспекты его лекций и бесед с нами, слушателями курсов, и я при подготовке своих бесед с бойцами и командирами широко использовал богатейший фактический материал. Но не только фактический материал! Столпянский *сумел передать нам ВДОХНОВЕНИЕ*, за минувшее десятилетие оно не угасло, а вспыхнуло с новой силой.

Начинал я порою так. Ну уж ленинградцы-то Пулково и Дудергоф непременно знают, а Пулково теперь знают и те, кто в Ленинграде не жил никогда: ведь здесь передний край обороны города на юге. А вот то, что *«Пулк»* и *«Дудору»* древний летописец помещал почти у самого берега залива, когда Нева была ещё не рекой, а озером-протоком, названной *Нево*, мало кто знает наверняка! И дальше продолжал примерно в таком русле.

…Корелия, или Карелия, Ингерманландия, или Ижорская земля, были старинными владениями новгородцев. Предприимчивые, деятельные новгородцы вели большую торговлю со своими иностранными соседями. Из Невы они смело выходили на своих судах в Балтийское и Северное моря и даже в Атлантический океан. У выхода в море, в Невской дельте, они ставили крепости-склады.

Вся большая область по обоим берегам Невы принадлежала Новгороду и называлась *Водская пятина*. В её составе было пять городов с округами (или присудами): Ладога, или

Альдейгобург, Орешек, или Шлиссельбург, Корела, или Кексгольм, Копорье и Ям (ныне Кингисепп).

Нева была жизненным нервом края. Это был путь, связывающий всю Русь с морем, ключ исторического пути «из варяг в греки». Жадные соседи с севера хотели отнять этот ключ. Бои за Неву происходили ещё в 850 году! Шведы бились за обладание Невой ещё в 1140 году и в 1242 году!.. Вот тогда-то воины-новгородцы, ведомые Александром Невским, наголову разбили здесь полчища ярла Биргера. Зря сунулся сюда король Эрик!

Позднее, когда Новгород Великий ослабел было от внутренних неурядиц, шведам удалось оторвать часть лакомой Водской пятины. Русский город Орешек у Ладоги они превратили в крепость Нотебург, чтобы не пускать новгородцев в невские воды. В устье реки Охты (как раз напротив Лавры) поставили сильную крепость Ландскрону, что означает *«Венец земли»*. Строили её итальянские мастера фортификационного искусства.

В 1300 году войско князя Андрея штурмовало Венец и выбило эту «пробку» из горла Невы, закупоривавшую путь «из варяг в греки». На месте было вражеской твердыни осталась тут рыбачья деревушка Усть-Охта. И снова весь край на два десятилетия вернулся в хозяйские руки Новгорода. В посадах Спасском и Городинском жили и трудились русские люди: Вергунины, Гаврилины, Звягины, Мишкины, Омельяновы и другие. *Имена-то какие! Русские, исконние!* Их сохранили для нас налоговые записи Водской пятины.

Когда я об этом рассказывал моим слушателям, то, сделав паузу, предложил поднять руки тех, *кто и сейчас носит эти фамилии*! Вот такой чисто драматургические приём пришёл мне в голову! Вергуниных не нашлось, Мишкиных – тоже, а что касается *Гаврилиных* и *Звягиных* и тем более *Емельяновых*, то чуть ли не в каждом батальоне, не то что в полку они встречались! Казалось бы, что особенного! Ну, оказались однофамильцами несколько бойцов, но ведь дело-то в том, что они оказались однофамильцами не только друг другу, но и *предкам своим*, коренным жителям наших краёв приневских. И такое совпадение переставало быть случайным. Оно действовало вернее многих и многих *общих* пропагандистских слов.

Иногда я прерывал исторический, точнее военно-исторический (так будет вернее!) рассказ каким-нибудь конкретным примером по топонимике. Ну, скажем, таким. Все вы, конечно, знаете, что в Ленинграде есть Васильевский остров. А вот откуда *есть пошло*, как говаривал древний летописец, название острова? А было на этом острове усадище новгородского посадника *Василия Селезня*, отсюда и название – остров Василия, Васильевский остров. А ведь что ни говори, школьные, а ещё прежде гимназические представления порою становились стереотипами, с которыми человек не расставался и в старости. До Петра, мол, почти пустая земля была!

Пал Новгород в 1487 году, покорённый московским царём Иваном Третьим, собирателем Земли Русской. Но его внук Иван Грозный потерял Приневье в 1583 году. Но вновь Нева ненадолго вернулась к Москве. Воспользовавшись «смутным временем», шведы опять завладели Усть-Охтой. На её месте была отстроена крепость Ниеншанц, или Канны, как называли крепость русские люди. Казалось, что новая крепость стала непреодолимой преградой на пути к взморью: любой корабль попадал под огонь шведской артиллерии. Под прикрытием бойниц и валов крепости притаился Ниен – город-богач. В устье Невы было много складов, пакхаузов, амбаров, мельниц, верфей. Ниен торговал с Европой зерном, мукой, пушниной, пенькой и прочими *русскими* товарами. В городе было около четырехсот домов – деревянных, с садиками, а в центре возвышались и каменные строения: лютеранская церковь, дом шведского коменданта и корпуса военного госпиталя… Теперь на этом месте высятся жилмассивы Малой Охты.

В 1618 году дед Петра Первого Михаил Романов заключил со шведами тяжёлый для России «Столбовой мир», и шведы снова почти на целое столетье закрепили за собою Водскую пятину.

Шведский король Густав Адольф посмеивался над Романовыми: дескать, недооценивают русские такое сокровище, как Нева. «Отсюда, – писал он, – Москва могла бы покрыть своими кораблями Балтийское море и подвергать шведское королевство постоянной опасности…». Густав Адольф ошибался: москвичи хорошо помнили о необходимости выхода к морю, очень нуждались в Неве и лишь выжидали удобного момента для нападения. Пётр Первый сумел выбрать подходящее время для реванша: в августе 1700 года он заключил мир с турками и сразу же объявил войну шведам. Первая встреча с искусными войсками Карла XII под Нарвой была для Петра неудачливой, но поучительной. Уже через год Борис Шереметов побил шведское войско под Эрестфером и Гумельс-гофом. Пётр Апраксин отвлек армию Крангиорта в Лифляндию, а Шереметев внезапно блокировал Орешек. Под стены Нотебурга прискакал и сам бомбардир-капитан Пётр Михайлов. Это, как вы знаете, псевдоним царя. У Петра-полководца быстро прорезались крепкие зубы. Твёрдый орешек он разгрыз так ловко и быстро, что шведы и ахнуть не успели. Случилось невероятное! Крепость, защищённая с трёх сторон водой, попала в кольцо… сухопутных войск! Оказывается, пехотинцы принесли на своих плечах лодки и выплыли в Неву из Ладоги. Взволновался многолюдный приневский край – *наши пришли, свои!*

Шведы были поставлены в тупик. Грозный комендант Ниеншанца Иоганн Опалёв (между прочим, выходец из России), искренно созвал военный совет. Дело происходило на Первушиной мызе, в поместье майора Конау. Сюда (тут я делал многозначительную паузу!) на островок у теперешнего Летнего сада, собрались самые влиятельные люди округи. Советник Фризиус, первый богач Ниена, снабжавший займами самого короля Карла, боялся, что сокровища города-богача достанутся царю московитов:

– Русские взяли Нотебург. Крангиорт далеко. Скоро царь Питер будет здесь…

И было решено: эвакуировать всё население в Кексгольм, а город Ниен сжечь!

Петру Первому так и не привелось увидеть своими глазами этот город, но мы можем себе представить по описаниям давних лет, как выглядело в те дни устье реки Охты.

Трое суток пылали строения Ниена. Зарево предвещало близкий конец шведскому владычеству в приневском крае. Петр Перый увидел от Ниена одни головешки. По преданию, он воскликнул:

– *Ох, та* сторона!

Не отсюда ли пошло русское наименование речки и предместья: *Охта*?!

… А войска Петра Первого продвигались неотвратимо.

За Ниеном начинались предместья генерала Крангиорта. На левый берег Невы вёл Спасский переезд, перевоз или паром. Он приставал как раз напротив Смольного! А на месте Смольного располагалась Смольная деревня. Жители её занимались смолокурением. В этих судоходных краях потреблялось много смолы. Дальше, по направлению к нынешнему Суворовскому проспекту, тянулось старинное русское село Спасское, или Спассовщина, с каменной православной церковью. На месте Таврического дворца стояла Севрина деревня. Ближе к Литейному мосту находились деревни Фроловщина и Палениха. На Старо-Невском проспекте в районе Лавры была деревня *Вихтулу.* Пётр сразу же переименовал её по созвучию в *Викторию*, в честь двух побед – своей под Ниеншанцем и Александра Невского – над рыцарями Биргера. По пути к нынешнему центру города находилась деревня Манола. У Фонтанки расположились две деревни – Кандуя и Враловщина. У Невы, там, где теперь Кировский мост, – Первушина деревня, отошедшая в своё время к помещику Конау. Между своей мызой и деревней майор разбил парк. Теперь это – Летний сад. Не на пустом месте и он вырос.

Фонтанку тогда звали «Крутой берег». По её берегам через Невский проспект шла тропа к другой деревне – Усадищу, или *Каллине,* что подле *Калинкина моста.* Не трудно догадаться, откуда пошло его название!

За Обводным каналом значилась деревня Ремана. Ближе к Нарвским воротам – Винола. У Волкова кладбища – Гольстингс. Русские переиначили её по-своему, в Алтынец. Точно так же и на Петроградской стороне они переименовали по созвучию речку *Куорпиоки* в *Карповку.*

За Алтынцем существовала деревня Сиала, а дальше – деревушки Антала и Куораласси. Немало мелких селений было разбросано среди лесов по берегам рек Кемеоки, или Фонтанки, Глухого протока, или канала Грибоедова, Мьи, или Мойки.

Довольно людно было и на Выборгской стороне. Ближе к Финляндскому вокзалу обнаруживались две деревни – Анока и Адицова. За улицей Комсомола находился артиллерийский парк шведов – примерно у кинотеатра «Гигант». Возле реки Невки были деревни Кискна и Вихари. Вдали виднелась деревенька Торка, а поодаль – деревня Питтукс. По направлению к проспекту Маркса – Эйкие и Макуря. Вообще-то именно вдоль Выборгской дороги преобладали финские деревни.

На Петроградской же стороне было больше русских деревень, скажем, *мыза Берёзовая.* Да и весь остров назывался *Берёзовым.* Потом его стали называть островом *Городским.* Ведь именно здесь началось строительство города Санкт-Питерсбурга. Но тогда Берёзовую мызу окружали распаханные поля. Нивы тянулись до нынешней улицы Куйбышева. А через густой и болотистый лес можно было пробраться к островку Иенисаари, или Люст Еланту, а точнее говоря, – к *Заячьему.* Там проживали русские рыбаки. Они и не подозревали тогда, что их небольшой островок, приют для зайцев во время наводнений, станет первоосновой великого города – Петропавловской крепостью.

А Васильевский остров ко времени прибытия Петра Первого сильно одичал под властью шведской. Здесь развелись лоси, посему остров стал называться Лосий, или Лосиный, или по-фински – Хирви Саари.

В описях Водской пятины 1500 года упоминались ещё и такие поселения у берегов Невы, как Ахкуево, Корабельница, Кулза, Минкино и другие, месторасположения которых установить пока не удалось. Называлась даже целая Тимофеев-ская волость, а всего – около *пятидесяти* деревень!

Наиболее густое население было на *Песках.* Там места сухие, наводнения до них не доходили. Как видно, в древности Пески служили берегом… Балтийскому морю!

Если названия *«Васильевский остров», «Петроградская сторона», «Фонтанка», «Летний сад»* у всех, даже неленинградцев, что называется, «на слуху», то название *«Пески»* встретило вопросы. А ведь это там, где ныне Суворовский проспект и Советские улицы.

…Такмы и «путешествовали» – и по городу, и в глубь времен. Порою я делал экскурсы в область истории архитектуры, останавливался на том, как в довоенные годы вместе с кинорежиссерами М. Клигман и В. Николаи в качестве киносценариста работал над фильмами *«Художественный облик Ленинграда»* и *«Архитектура Ленинграда».* Рассказывал и о своих художественных фильмах – «Отец и сын» о сталеварах Колобовых и, конечно, о фильме «Певец из Лилля» о замечательном французском шансонье Пьере Дегейтере, авторе музыки гимна «Интернационал». Фильм уже начал создаваться, многие эпизоды были сняты… Пьера Дегейтера играл любимый мною артист Владимир Чесноков, а ставил тоже любимый мною кинорежиссер Владимир Петров, которого знали почти все мои слушатели как постановщика фильма «Петр Первый». Бойцы спрашивали меня о встречах с Петровым, о том, как снимался фильм о Петре. Если на первый вопрос я мог ответить, то на второй – лишь со слов самого Петрова: во время наших с ним бесед он не раз ссылался на опыт постановки киноленты большой, масштабной, зрелищной, исторической. Ведь нам тоже предсто-

яло создавать именно такую картину, хотя и односерийную. Увы! В ту пору я ещё не знал, что негативная пленка погибнет в огне блокадных пожаров и весь режиссерский труд, труд всего съёмочного коллектива канет в небытиё. Останутся только текст киносценария и подготовительные к нему материалы.

Обращение к моему киносценарному опыту было в наших военно-патриотических беседах вполне уместным: зрительская память моих слушателей как бы иллюстрировала мои устные рассказы. К тому же, я не встретил *ни одного человека,* который был бы равнодушен к киноискусству. Неначитанных, малочитавших встречалось несравнимо больше, но какой-то опыт кинозрительский (и весьма немалый!) был практически у каждого. Конечно, обстановка на фронтах не благоприятствовала думам о теории литературы и теории киноискусства в их сопоставимости, но некоторые намётки и наблюдения, весьма пригодившиеся мне в скором времени, я сделал уже тогда.

Что же касается итогов первых моих бесед с ополченцами, то две реплики я воспринял как высшую похвалу.

– Ну, чужеземцы чёртовы! Не суйтесь лучше! Была эта земля нашей и будет нашей вовек! – сказал в сердцах один из моих слушателей. А другой, по всему видно – коренной ленинградец, только руками развел:

– Спасибо Вам за рассказы Ваши, товарищ лектор! Жили здесь, родились в Питере, а ни о чём подобном даже и не слыхивали! Я, к примеру, около кинотеатра «Гигант» и живу, и работаю – с Выборгской я стороны. Пусть помру здесь у стен Ленинграда, но не дам допустить, чтобы у немцев артиллерийский парк, как у шведов этих, допетровских, был на месте нашего кинотеатра «Гигант». Там зал большой. Мы на его экране ещё фильмы о нашей Победе увидим.

Парторг полка слушал тоже очень внимательно, заинтересованно, с изумлением даже, а потом отвёл меня в сторонку и говорит:

– Конечно, материал Вы знаете здорово – и всё по памяти! Даже в конспект ни разу не заглянули. Я прямо поразился! Одних названий-то сколько, и дат, и фамилий, и события одно за другим следуют, но вот что меня смущает – о политике мало… О Сталине ни слова не сказали. Как же так? Учтите на будущее.

Ну, напрямую я ему не подчинялся и в то же время на рожон лезть не стал. И так примерно ответил:

– Спасибо за то, что внимательно слушали меня, а самое главное – не просто слушали, а с интересом! Это для меня и есть высшая оценка. Разумеется, перед беседой я свои конспекты перечёл, кое-что освежил в памяти. Я же не профессиональный историк или историк архитектуры. Я прежде всего литератор, кинодраматург, очеркист. Вот с этих позиций я к материалу и подошёл. Что же касается политики, то есть такие слова Ленина – о том, что поменьше надо политической трескотни. Ну, произнесу я минут пять некую передовицу газетную. Послушают из вежливости – и всё! А здесь очень далеко народная память ушла, к самым своим истокам. Да, общепатриотический акцент сильнее оказался в этой беседе. Во второй беседе классово-политический акцент будет сильнее. Но и материал там несколько иной.

Вижу, что такой ответ моего рецензента удовлетворил.

Вторую свою беседу я решил назвать так: *«Город русской военной славы».* Начал я с образа самой Невы, которая в осеннюю пору становится тёмно-серебристой, как латы витязя. Героическая река, река-герой, река-воин. Особенно она величественна у стен Петропавловской крепости. Отсюда начинается наше второе «путешествие». Я говорю своим слушателям о том, что наш город представляется мне каменной и бронзовой летописью героики нашего народа. Ленинградские музеи хранят реликвии победного прошлого. Они говорят о непреходящей силе нашей, способной оградить *«полнощных стран красу и диво»* от любых

посягательств чужеземных захватчиков. И я начинаю сказ о Петропавловской крепости, о соборе Петра и Павла, где нашёл своё вечное упокоение основатель града на Неве, о его славном ботике, для которого был специально построен дом рядом с собором. Потом мы мысленно переходим на Берёзовый остров в первый дом Петра, переносимся через Неву в его первый дворец, отправляемся сперва в Кронштадт, а затем в Выборг, и я обращаю внимание слушателей на то, что на памятниках Петру Первому в Выборге и Кронштадте надписи говорят об одном: «ОБОРОНА СЕГО МЕСТА – НАИГЛАВНЕЙШЕЕ ДЕЛО». С кинематографической скоростью переносимся опять в град на Неве, на сей раз в Военно-Морской музей на стрелке Васильевского острова, и перед нашими глазами оживают жанровые сценки быта новой морской твердыни начала XVIII века. Все вместе мы словно присутствуем на праздновании победы России в Северной войне, видим необыкновенно пышный фейерверк, слышим ликующие возгласы: *«Жива Россия! Так мечталось нам, возликуем и мы!»*

Нет необходимости говорить, какой отзвук в сердцах моих слушателей рождали эти воскресающие картины славной старины, особенно – картины празднования побед. При этом я неоднократно подчеркивал, что все петровские победы дались очень большой ценой, что путь к ним был долог и мучителен. А мы в большую войну только вступали. Не встречал я за все блокадные дни ни одного «пророка», которые бы отважился назвать, *сколько лет* продлится Великая Отечественная война и когда она завершится. Разве что в одном почему-то многие сходились в своих прогнозах – *весной* будет Победа! И тут дело, конечно, не в пророчествах. Весна – это всегда чудо, всегда обновление жизни, всегда надежды на счастье.

Вспоминал я в наших беседах и Семилетнюю войну с немцами в середине XVIII века. И тогда русские полки вошли в Берлин! В Берлин! В Эрмитаже хранятся знамёна, захваченные тогда у немцев. А самые замечательные трофеи – треуголка короля Фридриха, потерянная им в бегстве с поля боя, и куцый его мундир, брошенный им в панике и растоптанный русским сапогом. Я рассказал о картинах художника Коцебу, посвященных разгрому немецких войск при Кунерсдорфе и Гроссельрфельде, процитировал фразу из письма Фридриха, написанного им сразу же после Егерсдорфского боя: *«Всё погибло навсегда*», а после неё – строку из оды Ломоносова: *«Где пышный дух твой, Фредерик!»*

Да, мы были в Берлине – и при Фридрихе, и при Наполеоне, а вот *в Ленинграде никто из врагов не побывал*! Недаром Фридрих Энгельс, большой знаток истории военного искусства и военного дела, писал о русских солдатах: *«Русские солдаты являются первыми из самых храбрых в Европе!»* Будет, будет и теперь бывалое – мы пройдём по улицам поверженного Берлина.

Ополченцы – люди в основном сугубо штатские и по биографиям, и по характерам. А бои предстоят нам смертельные, жесточайшие, кровавые. Трудно русский национальный характер переломить к жестокости, а ведь война заставит нас это сделать! Иначе нам не спастись и смертного врага не победить. Да, война – это адский, постоянный труд. То, что она – не парады и не смотры, теперь, после 22 июня 1941 года, доказывать не надо. Но то, что *война – это прежде всего убийство врага*, нашими людьми воспринимается с трудом. Среди ополченцев – музыканты двух симфонических оркестров из театров Ленинграда, инженеры из конструкторских бюро с Выборгской стороны, рабочие высокой квалификации. Многих из них возвратят на обычные и привычные для них рабочие места, а те, кто останется, должны, просто *обязаны* свыкнуться с мыслью, что *только в уничтожении врага – наше спасение.* И нынешняя война по степени жестокости превзойдёт все минувшие войны. И по числу жертв – тоже. В этом я убедился зимой 1939 года во время Финской кампании. Сейчас мы столкнемся с силой ещё более жестокой и коварной. И я рассказываю моим слушателям о том, как поменялась форма у апшеронского гвардейского полка в ходе Семилетней войны. В монографии знатока военного обмундирования Висковатова говорилось, что апшеронцы носили

белые гамаши. Почему же у них появились красные отвороты на ботфортах? Оказывается, красная кайма появилась после разгрома немцев при Кунесдорфе в 1759 году – русские солдаты *до колен* были забрызганы вражьей кровью! Это и отразилось в дальнейшем на форме полка. Да, на войне, как на войне! Это *труд на ниве смерти.*

Чтобы несколько скрасить сей не очень-то безмятежный (скажем так!) пример, я тут же перешёл к серебряным трубам оркестра давнего Павловского полка. Они увиты были георгиевскими лентами, присвоенными гвардейцам за взятие Берлина в XVIII веке. Пример с трубами пришёлся кстати и особенно увлёк наших музыкантов.

И вот в ходе нашей беседы возник (не мог не возникнуть!) вопрос, подспудно мучавший каждого начинающего воина – а *сохранила ли история имена рядовых бойцов*, не стал ли абсолютно безымянным их труд, их подвиг, не канули ли в Лету их судьбы, имена и деяния?..

Да, решающей всегда была роль рядового воина. И вот он перед нами. В Эрмитаже выставлен портрет русского солдата-победителя Бухвостова. Имя и отчество не указано. Служил он бомбардиром в артиллерии, потом строил корабли. Его портрет расположен в музее по соседству с изображениями полководцев Бориса Петровича Шереметева и Василия Владимировича Долгорукова. Это они вели наши войска от Белого моря до Онежского озера – по неизведанным путям, по глухим лесам и болотам. Это они совершили чудо, внезапно захватив Шлиссельбург!

Шлиссельбург пришлось брать ещё раз, чтобы назвать его *Петрокрепостъ,* – в январе 1943 года, и мне посчастливилось как фронтовому киносценаристу пережить эти волнующие дни, чтобы запечатлеть эти выдающиеся события на пленке. Глубоко символично, что операция по прорыву блокады Ленинграда проходила в тех же местах, где воины петровские прорывали блокаду всей России – за выход к морю!

Вообще, в нашем городе очень тесно взаимосвязаны между собою большие и малые, известные и малоизвестные страницы истории нашего Отечества. Вот, скажем, многие мои слушатели видели на Выборгской стороне Сампсониевский собор. А ведь его возведение теснейшим образом связано с Полтавской викторией: именно в день «святого» Сампсония, 27 июня 1709 года, под Полтавой были разбиты рати Карла XII! Вот что позволило *«ногою твердой стать при море»* Балтийском – победа на украинском поле!

Начало же разгрома шведов было положено в морских баталиях. Помню изображение первого такого боя, взятие крупных шведских кораблей «Астрила» и «Гедана» русскими пехотинцами, наступавшими на огромные по тем временам корабли в… обыкновенных лодках! В честь этой победы была выбита медаль с надписью «НЕБЫВАЛОЕ БЫВАЕТ».

Много *небывалого, ставшим бывалым* прямо у меня на глазах, будет в блокадные дни и потом, в дни битвы за Берлин. Будут и необыкновенные военные хитрости, и чудеса смекалки, и самые обыкновенные лодки выйдут под неукротимым, казалось, огнём противника в кипящую от раскалённого металла воду сперва Невы, потом Днепра, потом Одера…

Ополченцы перестанут быть ополченцами – станут просто бойцами и командирами Красной Армии, и многие из них внесут свой яркий вклад в нашу общую большую Победу.

…Я говорил тогда и незаметно поглядывал на часы – знал, что вот-вот прозвучит сигнал тревоги. Оставались минуты, и я решил посвятить их более близким по времени событиям и именам.

Прежде всего напомнил о том, что знаменитый Мраморный дворец – это не просто подарок Екатерины II графу Орлову-Чесменскому. Это дворец-памятник, воздвигнутый в знак наших побед в турецких войнах. В какой-то степени это можно сказать и о Таврическом дворце, палатах Потёмкина, прозванного Таврическим.

Я ещё не знал доподлинного нашего маршрута на фронт, но примерно представлял себе его и старался построить свой рассказ так, чтобы пеший переход как бы стал зримым продолжением наших бесед. Явно мы пойдём через Кировский мост, к Марсову полю, мимо

памятника Суворову. С Кировского моста мы увидим дом, откуда Кутузов отправлялся на фронт, – по левую руку, а по правую – Эрмитаж с его Галереей 1812 года. И я цитирую бойцам-ополченцам пушкинские слова:

Толпою тесною сюда художник поместил
начальников народных наших сил,
покрытых славою чудесного похода
и вечной памятью Двенадцатого года.

Среди картин художника Дау мне было особенно отрадно выделить портрет Бибикова, начальника *Петербургского народного ополчения*... И вот – опять Отечественная война, *опять народное ополчение*!

… Надо ещё успеть хотя бы несколько слов сказать о Марсовом поле, о здании бывших Павловских казарм на нём… Весь город – мемориал русской военной славы! Куда только ни взгляни – всюду её следы, запечатлённые зодчими и скульпторами, и незримо среди этих шедевров – шедевры русской словесности. Они живы у нас на устах.

Но – наконец звучит сигнал боевой тревоги. Мы уходим на фронт. Эти мгновения живы во мне и по сей день – они трагичны, но они и *вдохновенны.* И я теперь спустя многие годы горжусь тем, что немецкие захватчики были впервые на нашей земле остановлены именно у стен Ленинграда, что я находился в рядах ополченцев на самых близких подступах к городу Ленина, у знаменитых Пулковских высот, ставших для меня южными границами Отечества.

Н.А. Сотников. Второе предисловие к одним и тем же дням

Перечитал я своё «Вступление» к книге «Были пламенных лет»[5] и огорчился – нет, не так надо представлять современному читателю мои блокадные были! А всё – инициатива издательства ДОСААФ: мы, мол, издательство не литературно-художественное, не писательское, нам надо побольше цифр, фактов, фамилий… Да к тому же потребовали от меня как автора непременной «привязки» к чисто досаафовской тематике! Чего я только ни придумывал, чтобы выполнить это не договорное, конечно, но весьма красноречивое пожелание: и книги специальные читал, и параллели искал определенные, и редкую фактуру в беседах и музеях добывал… Получилось в итоге довольно сносно, но вот особой художественной радости не было!

Одна отрада – пошла моя рукопись в производство, да ещё слишком быстрыми темпами, что порою тоже не совсем на пользу книге. А пока я в Доме творчества в Малеевке ожидаю раннюю весну и пишу это второе предисловие.

Не сомневаюсь, что найдётся не один историк, который придерётся к тем или иным цифрам. Даже самая трагичная цифра (число погибших в блокаду мирных жителей) всё время менялась у нас, ленинградцев, на глазах – то в сторону понижения, то ныне – в сторону повышения. *Я лично как участник обороны Ленинграда склонен больше верить в максимальную цифру жертв* – и не потому, что я – носитель какой-то особой, абсолютно достоверной информации, а по праву, которое мне даёт звание блокадника, защитника города, одинаково знавшего и передовой край обороны, и быт горожан, и среду военную, и среду сугубо гражданскую, а в военной среде – и ополченцев-добровольцев, и кадровых военных, профессионалов до мозга костей.

---

[5] Николай Афанасьевич Сотников писал эти тексты, будучи уже тяжело больным. Он скончался, приехав в Москву из Малеевки 2 июня 1978 года, и выхода в свет своей книги «Были пламенных лет» не дождался. Зато редактор сборника повёл себя слишком по-хозяйски и вовсе не уведомил автора о сокращениях, перестановках и даже значительных изменениях текстов. Во всяком случае, автору вёрстка на вычитку не давалась.

К тому же обстоятельства моей военной биографии, особенности моей работы военного корреспондента и фронтового кинодокументалиста позволяли мне видеть блокадные картины, выражаясь кинематографическим языком, *«с* движения»; «в резкости»; и крупным планом; и панорамой. А это очень важные детали!

Постоянно беседуя с другими участниками войны; даже офицерами и даже старшими офицерами; не говоря уже о солдатах; я не раз убеждался в том; что при всем разнообразии судеб и при всей пестроте впечатлений *видели они не так-то уж много. Не так-то уж много видел* и обычный житель блокадного города. В этом я убедился и беседуя с ленинградцами-блокадниками; и изучая документальные книги и периодику. Конечно; на войне шире и дольше всех видит тот; к кому стекается максимальная информация; но это информация сугубо военно-оперативная; разведывательная; штабная; специальная отраслевая (по службам обеспечения; по родам войск и т. д.); а к писателю стекается *информация другого рода* – художественно-публицистическая; эмоционально-образная. И вот здесь МЫ; литераторы; пальму своего первенства никому не отдадим! Наверняка; газетчики из отделов боевой подготовки и информации были нас; спецкоров; очеркистов; сотрудников отделов культуры или литературы и искусства; осведомлённее; но зато мы имели возможность и остановиться; и оглянуться; и всмотреться; и дать своему герою выговориться; а не ограничиться коротким рапортом или боевым донесением.

Меня как фронтовика; как военкора больше всего потрясли в очерках Александра Кривицкого два запоздалых удивления-признания: ОН; человек очень осведомленный и прекрасно подготовленный в профессионально-военном отношении; спустя годы сам удивлялся; возвращаясь к тем или иным боям; памятным событиям; встречам; как многого он не знал, как тщательно военная цензура процеживала фактуру в военной прессе; так тщательно; что порою автор и особых сокращений в своем очерке или статье; или корреспонденции не замечал; и в то же время не мог потом припомнить; а о каком же участке фронта он тогда писал. И второе – самый маленький штаб; самая скромная и незаметная часть, оказывается; даже после весьма скромных боёв и небольших передвижений оставляли после себя для архивов такое обилие документов; что они в подавляющем большинстве своём и по сей день *неосвоенными остались!*

Александр Юрьевич сам выходец из военной семьи, ещё до войны работал в «Красной звезде»; начитанностью своей в военных вопросах уже тогда коллег по перу поражал; и ему нельзя не верить в этих обобщениях.

Это – документы; фактура; а память людская; память писательская! Разве она полностью освоена; разве она максимально полно с отдачей работает на современность да и на будущее! Нет! К величайшему несчастью; нет! Очень многое под спудом лежит. Кто не хочет поднимать пласты былого; кто не хочет ворошить минувшего; кто раны свои тревожить боится… У каждого свои причины.

А почему я *так поздно* взялся за свои блокадные были? Если меня спросят; я так скажу. После войны с жадностью набросился я в кинематографе и в литературе на мирную тематику соскучился по ней! Военным писателем, баталистом тем более я не был. Военные познания имел очень скромные. Больше всего на свете любил литературу искусство, архитектуру, природу. Посему и мечтал увлечь предметами своей любви и будущих читателей, и зрителей. Особенно мне казались заманчивыми видовые киноочерки. Телевидения массового в послевоенные годы не было, да и сейчас даже сравнительно большой цветной телеэкран не в силах передать того, чем властен киноэкран в большом зале!

Да, всё это так, но была, конечно, и ещё одна причина. Горе военное было так велико, что хотелось его *остудить.* И тут я не оригинален. Так или примерно так со мною говорили на эту волнующую тему многие мои товарищи по перу.

А вот потом, спустя годы, я стал понемногу возвращаться к блокадным дням, но *не через трагическое, а через прекрасное.* Поясню свою мысль. Ещё с довоенных времен я увлекался историей культуры, в том числе и культуры материальной, особенно любил и сейчас люблю архитектуру, эту «музыку в камне». Историю архитектуры нам, слушателям Высших курсов искусствоведения при Институте истории искусств в Ленинграде превосходно преподавал профессор Петр Николаевич Столпянский. Ему я во многом и обязан своими и интересами, и познаниями. Его уроки пригодились мне и в работе над сценариями документальных и научно-популярных фильмов, и в блокадные годы для занятий с бойцами и командирами, и для журналистских заданий, и для моих послевоенных экскурсий, которые я проводил со своими учениками – слушателями драматургических семинаров…

Наверное, с этих поездок всё и началось! Как сейчас вспоминаю лето 1964 года, семинар драматургов-одноактовиков в Комарово, наши автобусные поездки в Ленинград и его знаменитые пригороды. На автобусы у меня, как у руководителя семинаров, средства были, а на оплату экскурсоводов – нет, и я вышел из положения тем, что по ходу движения давал свои комментарии, а потом, увлёкшись, сел на кресло экскурсовода, взял микрофон и начал импровизировать. Так, пожалуй, и была «написана» глава *«Окопные тетради»,* потом – *«Вдохновение».* Их первоначальные варианты напечатали соответственно журналы «Урал» и «Север». Было это в 1966 году, а двумя годами раньше, к двадцатилетию окончательного снятия блокады Ленинграда для «Литературной России» я написал два маленьких очерка – *«В пальмовом раю»* и «*Весенний сад»* о ленинградских ботаниках, об их подвиге в годы блокады. Заключительный очерк – тогда ещё под названием *«На рассвете»* – был напечатан в журнале «Волга», а написал его я как ответ на писательскую анкету к двадцатипятилетию Победы. В анкете было два вопроса: «*Где Вы встретили 22 июня 1941 года?»* и *«Как и где отпраздновали 9 мая 1945 года?»* На первый вопрос я уже отвечал в очерке «Вдохновение», а второй вопрос воскресил в моей памяти германские, берлинские впечатления.

Но и это ещё не всё. Да, появились наброски, более-менее завершённые очерки, но ещё не главы, ещё не слагаемые монолитной книги. К тому же я вплотную занялся театральной драматургией и ушёл с головой в историческую тематику.

И вот однажды, в марте 1968 года, произошла встреча, сыгравшая главную роль в судьбе этой книжки, книжки, которую вы сейчас начали читать.

Позвонил мне по телефону мой давний довоенный ленинградский знакомый, в своё время – мой ученик в литературном кружке при заводе «Красный гвоздильщик». Меня туда известный ленинградский энтузиаст работы с молодыми авторами поэт Алексей Крайский сагитировал, а профком разрешил со временем привлекать к учёбе не только работников этого завода, но и других предприятий. Так я и познакомился с Мишей. Теперь он давно не Миша, а почтенный деятель системы Госкомиздата СССР, крупный чин, но уже в отставке, на пенсии. Живительное дело – мои ученики уже пенсионеры! Даже не верится… И вот у этого Миши – молодая жена, болгарская поэтесса, выпускница Литературного института имени Горького. Живут они в Москве, но часто бывают в Софии, она хорошо говорит по-русски, но пишет только на родном языке. Побывали они как-то вместе в Ленинграде, Миша ей о своей юности рассказал, о том, как мы с ним познакомились, как я его «увёл» в журналистику от станка, а потом разговор слово за слово неминуемо перешёл на блокаду, не мог на эту тему не перейти… Жена Миши в годы войны ребёнком была, мало что помнит, а он воевал на других фронтах. Так что рассказывал с чужих слов. А поэтессе страстно захотелось *узнать правду из первых рук,* тем более что она задумала цикл стихов о подвиге Ленинграда. Интересно и неожиданно – молодая болгарская поэтесса пытается постигнуть *«блокадную суть»,* как сказал один поэт. И вот Миша просит меня (мы с ним до этого редко и всё мельком встречались) уделить им с женой внимание и рассказать о блокадных былях.

Это не инструктаж и не литературная консультация. Сперва разговор идёт вообще о литературе, о её новостях и новинках, потом вообще о Ленинграде и лишь потом, постепенно мы начинаем возвращать блокадные времена…

Многое, очень многое можно *начитать*. Я всегда говорил своим ученикам: «Начитайте как можно больше, но с выбором, конечно, со строгим личностным отношением к каждому слову, а потом, прежде чем начать писать самим, *всё забудьте*! Парадокс? Да! Но психологически очень важный – если всё помнить в момент написания, то *своё слово* сказано не будет!» Эту фразу я повторил моей болгарской гостье. Она буквально засыпала меня вопросами. На некоторые из нихя отвечал так: «Об этом хорошо сказано в такой-то книге. Прочтите сами!» Как вы видите, я решил остановиться на том, о чем нигде так не прочтешь, ибо это – *память сердца.*[6]

На вопрос о самом трагичном воспоминании я ответил неожиданным для себя устным рассказом. Я впервые осмелился об этом не только сказать вслух, но и вспомнить – слишком страшны эти блокадные страницы!

Мне, фронтовику, часто приходилось бывать в городе, и это были хождения по мукам. В дни жесточайшей зимы 1941–1942 годов я жил в землянке возле Пулковских высот. За этой полоской ничейной земли начиналась, как хвастливо орала фашистская пропаганда, «великая Германия». Впрочем, эта «великая Германия» дальше не пошла и на этом же месте стала укорачиваться, как шагреневая кожа. В Берлине в мае 1945 года я был свидетелем полного краха гитлеровского рейха[7].

Редакции дивизионных газет, для которых я работал, помещались за пропускным пунктом близ Московских ворот, а армейской – на правом берегу Невы в черте города. Корреспондентский билет был своего рода визой для наших пограничников. Ходил я за «проходную», как мы выражались, не только по журналистским делам, но и для того, чтобы отдать кому-то свой хлебный паёк.

Может быть, это прозвучит неожиданно, но это правда. Именно так и было на самом деле. Постепенно мой фронтовой хлебный паёк становился непригодным для *моего* пропитания. Сперва шли примеси сои, отрубей, жмыха… Это ещё куда ни шло для моих зубов и десен, но потом в хлеб стали подмешивать целлюлозу! Древесина, а всё же клетчатка! Пока целлюлозный хлеб был свежим, его ещё можно был как-то раскусить, но через час-другой буханку уже надо было рубить топором или ковырять штыком, а то и размачивать в кипятке. А у меня разыгралась цинга, кровоточили десна, шатались зубы, распухали ноги…

Поддерживал мои силы связной полка красноармеец Денежкин, кадровый рабочий, конечно же, доброволец. Семья его не эвакуировалась, жила в блокадном городе, совсем-совсем близко и в то же время бесконечно далеко! Самому ему вырываться домой удавалось буквально несколько раз, но связь с домом была налажена через одного знакомого паренька-шофёра. Я уступал семье Денежкина свою буханку – трехдневный паёк. Желая как-то отблагодарить меня, Денежкин, удивительной доброты и смелости человек, по ночам *выходил,* точнее говоря, *выползал* на нейтралку, штыком дробил лед, покрывший неубранные с осени огороды, и под огнем противника вырубал изо льда замёрзшие кочешки капусты или окаменевшие морковки, подчас это была и свекла. Так Денежкин лечил меня от цинги. Порцию витаминов я получал (опять же, благодаря его стараниям!) в чае, настоянном на хвое прифронтовых елок. Увы, вскоре Денежкин попал в медсанбат, и больше мы с ним не встречались…

---

[6] Именно так я решил назвать свой цикл радиопередач о военной теме в поэзии, прозе и публицистике. Всего прошло 167 таких 40-минутных передач.

[7] См. очерк «На рассвете нашей Победы» на стр. 92.

Но одубевшие хлебные пайки накапливались. Я извлекал внутренности противогаза, клал в сумку свои пайки и направлялся в город отдавать их уцелевшим друзьям и знакомым.

Никакого транспорта не было. Как писал Николай Тихонов, *именно тогда* ленинградцы узнали цену подлинных расстояний в своём городе! С трудом добираюсь до центра. А это – *километров пятнадцать*! Поднимаюсь по обледенелой лестнице, стучу. Но дверь не заперта. Иду через кухню. На окнах фанера вместо стёкол. Ветер дует, как в степи! Вхожу в комнату, в которой я бывал столько раз в довоенную пору, в которой было столько книг, в которой так радовались гостям, так часто звенел смех… На кровати лежит давно умерший друг, мой старший товарищ, мой учитель и наставник в делах кинематографических…

Кому же отдать хлеб?.. Кому?.. Может быть, вот этому случайному прохожему?.. Хотя прохожим назвать его можно лишь условно – он медленно-медленно движется вдоль дома, опираясь на стену двумя руками, и вдруг тихо сползает на снег… Он ещё смотрит, но взор его уже угасает… Ему мой хлеб *уже* не нужен.

Кому же отдать хлеб?.. Стучусь в другую квартиру, в другом доме. И опять – можно не стучаться, можно одному ходить по ледяному дому, в котором совсем ещё недавно жила очень дружная и гостеприимная семья, где так любили музыку. И здесь та же картина, что и прежде – постель, закутанный в одеяло человек, мертвящий тело и душу холод.

Усталость валит и меня с ног! Наверное, я отшагал километров восемнадцать. Да, уж не меньше! Я несказанно рад, что квартира заперта. Вот они, блокадные парадоксы. Заперта – значит, есть надежда на то, что там, за дверью, живы! Жива моя старая приятельница, прекрасный знаток пушкинского Петербурга, лектор, педагог, критик, обаятельная, умная собеседница… Сейчас я её увижу, помогу ей… Дверь открывается… Долгая-предолгая пауза, которая кажется вечностью. Слова благодарности – как всегда, чуть старомодные, изысканные. Она просит меня извинить, она больна, в квартире не прибрано, к тому же она плохо выглядит. А за хлеб, конечно же, огромное спасибо. Она этого никогда не забудет: шутка ли сказать – с фронта пришёл человек, чтобы дать ей целую буханку хлеба! Ничего страшного, что он крепкий, она сделает из него суп, да-да, суп. Это будет очень вкусно, и хватит на несколько дней… Она протягивает мне высохшую руку и берет этой рукой хлеб, потом вновь протягивает мне руку для рукопожатия. Рука у неё лёгонькая, очень холодная и вся высохшая. И всё-таки я верю, что ей поможет буханка хлеба! Вы понимаете, почему она не пустила меня в квартиру? Прежде всего потому, что не хотела показывать мне своё изнурённое лицо, его увядшую прелесть. И её слова о непорядке в доме – тоже не дипломатия. То, что такой разговор идёт в первую блокадную зиму под гул артобстрелов и воздушных налётов, – уже само по себе чудо!

… Не меньше часа взбираюсь по обледеневшей лестнице на шестой этаж другого старого дома в центре города, чтобы отдать вторую буханку хлеба другой моей знакомой, соратнице и помощнице по литературным делам довоенной поры… */Довоенной поры!* Так мы и тогда говорили, а ведь с начала войны прошло-то всего-навсего полгода, а кажется – целая эпоха миновала!

И тут я должен сделать небольшое отступление. Дом, на шестой этаж которого я с таким трудом взбирался по ледяным ступеням, стоял недалеко от Владимирского собора на Петроградской стороне. В садике у собора и в окрестных переулках была блокадная барахолка. Хлеб там котировался на вес золота. Это не преувеличение, а истинная цена! За буханку хлеба там можно было получить золотое кольцо с бриллиантом. Предлагали и рояли.

В этих обменных операциях было нечто позорное. Моя приятельница не шла на подобные компромиссы, хотя у неё ещё оставались какие-то драгоценности, фамильные, не ахти какие редкостные и дорогостоящие, но дорогие ей своей памятью о предках, потомственных

интеллигентах, живших в мире искусства и миром искусства. И она не понесла их на ближнюю барахолку, видимо, сознавая, что кусок хлеба *её уже не спасёт*.

Я застал эту гордую женщину во всем величии женской красоты! Она лежала на кровати причёсанная, с перстнями на пальцах и с серьгами в ушах, но уже мёртвая… Так встретила свою смерть эта ленинградка.

… Опять некому отдать хлеб. Какая мука!

Эта история произвела на моих гостей огромное впечатление, особенно – на поэтессу. Она сперва делала какие-то пометки в своём блокноте, а потом остановилась, замерла и слушала, буквально не переводя дыхание, заключительные слова моего устного рассказа.

– И Вы обо всём этом ещё не написали? – воскликнула она. – Как можно! Это же клад! Это же готовые новеллы, очерки, рассказы!

Её муж посмотрел на меня и развел руками:

– Николай Афанасьевич этим нас удивлял ещё в довоенном литобъединении, когда рассказывал нам о том, что видел и слышал в годы Гражданской войны! Начинал-то он как прозаик, а вот, видишь, ушёл в документалистику, в кинопублицистику, в драматургию… Николай Афанасьевич, а Вы мне как-то говорили, что ещё в годы блокады задумали сценарий художественного фильма о блокадниках-ленинградцах…

– Да, – ответил я, – был такой замысел. Вернуться к нему я смог лишь в конце 40-х годов, а тут – так называемое «Ленинградское дело», и впоследствии в общем допускались лишь какие-то частные истории либо же, напротив, – слишком общие, иллюстративные, а у меня главным героем должен был стать… ну, конечно же, фронтовой журналист, которого откомандировывают на фронт, и он буквально через несколько месяцев после начала войн вновь возвращается к своей главной мирной профессии. Как вы понимаете, *такой герой* и многое видит, и *обладает определённой независимостью в действиях и суждениях, и склонен к обобщениям.* А кому, скажите, *такой герой* нужен? Разве что зрителю. Так до него дорога дальше, чем до Луны! Вот мои довоенные фильмы запускали в производство *после трёх виз*, трёх подписей, а теперь (мы тут с одним молодым кинодраматургом на эту тему долгонько беседовали!) и *пятнадцати подписей мало!*

– Но ведь с книгой-то проще! Попробуйте повесть сделать! – уговаривал меня Миша.

– Поздно, Миша, не тот запал, перегорело многое, да и психологически тяжело. Стану вспоминать не только горькое, но и светлое: как с Галей познакомился, как она меня в госпитале своём на Петроградской стороне спасла, как мы вместе с ней после снятия блокады на Берлинское направление оба напросились! А ведь могли, вполне могли в Ленинграде остаться! Как знать, может, она бы после родов и жива бы осталась, не погибла бы на второй день после рождения сына, и жильё у нас было бы, и работа стабильная. Ведь мы вернулись к разбитому корыту!.. Как вы оба уже догадались, такая киноповесть могла бы быть *только* чисто автобиографической. Разумеется, я мог бы взять какую-нибудь судьбу, выстроить сюжет, но не хочется заниматься таким *конструированием*! Лучше расскажу-ка я в очерковой форме о конкретных людях, об их делах, их борьбе, их переживаниях и надеждах!.. В одном вы оба правы: надо, пока есть силы ещё какие-то, пока совсем болезни не одолели, сделать очерковый цикл и назвать его… ну, хотя бы *«Были* пламенных лет». У Довженко *«Повесть* пламенных лет», а у меня – некоторые *были* блокадного Ленинграда. И одну главу, заключительную, думаю сделать берлинской, майской, победной, чтобы была в цикле завершенность и логическая, и эмоциональная. Не стану претендовать на энциклопедичность, универсальность, какую-то особенную широту. Пусть вспомнится то, что особенно дорого, а там видно будет.

…Гости мои ушли, а я долго-долго, далеко за полночь, сидел над раскрытой папкой, на которой тут же крупно написал: «БЫЛИ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ».

Н.А. Сотников. Война пришла в наш дом не сразу

22 июня немцы бомбили Кронштадт. Я видел этот бой, стоя напротив острова Котлин в Коломяках[8].

Первые мгновения войны, её первые часы и дни у меня, участника Гражданской войны, войны Финской и походов на Западную Украину и в Западную Белоруссию, вызвали чувство, нет, не страха, а чувство *яростного возмущения: я* своими глазами видел, как всё шоссе было усеяно забитыми кладью машинами! Это новая «знать» спешно покидала не только пригород, но и вообще городские пределы. Спасалась бегством номенклатура среднего и младшего ранга, те самые чинодралы, которые ещё день назад, бия себя кулаками в грудь, кричали о патриотизме и призывали к новым успехам «на всех фронтах строительства и защиты социалистического Отечества».

Как я потом узнал и увидел, бежала знать и из Ленинграда – под самыми разными предлогами, не страшась порою ни закона, ни административной, ни партийной ответственности [9].

У нас в Ленинградской писательской организации дело обстояло несравнимо лучше. Писательская молодежь (а молодых писателей тогда было немало, не то, что в 60-е и 70-е годы!) уходила в райвоенкомат Дзержинского района. Просились в добровольцы и люди постарше, но их просили подождать. Наша, писательская «знать» сразу же запросилась не на фронт, а на Восток и заполнила тот самый эшелон, который был предоставлен детям представителей художественной интеллигенции Ленинграда. «Спасите наши души!» – таков был вопль всей этой «знати». Ее настроения, её *подлинную*, а вернее, *подленькую*, сущность прекрасно уловила замечательная женщина, гражданин и поэтесса бывшая жена Алексея Николаевича Толстого Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая в своём стихотворении 1941 года «А беженцы на самолетах…»[10]. О публикации этого стихотворения в те времена не могло быть и речи, но в наших узких кругах творческих работников оно хождение имело уже *тогда* и покоряло нас своей жесточайшей правдой, горестным сарказмом и прозорливостью.

Я лично знал Наталью Васильевну, не раз встречался с нею в доме Алексея Николаевича в Детском Селе[11]. В ту пору я много занимался издательскими делами в «Прибое» и в «Пролетарии», и среди моих постоянных авторов были и К. Федин, и Ю. Тынянов, и Б. Лавренёв, и В. Каверин. С Алексеем Николаевичем я не раз советовался по душам. Он удивительно широко умел смотреть на литературный процесс и на издательское дело. В наши общие разговоры легко и органично входила и Наталья Васильевна. Она уже и в те довоенные годы отлично знала каждому пишущему цену не только литературную, но и человеческую, и, как мне кажется, очень точно предвидела то, *кто кем окажется* в тяжёлую годину.

Я лично наизусть помню только первую строфу и совершенно убийственный эпитет из следующей: *«А беженцы на самолетах взлетают в небо, как грачи, актеры в тысячных енотах, лауреаты и врачи…». А* это сочетание прямо до сих пор глаз, слухи сердце режет: «… и *просто мелкий большевик».* Вот эти-то *«мелкие большевики»* и оказались на деле самой большой опасностью во все периоды нашей истории, начиная со времён предреволюционных и посейчас. Нет нужды уточнять, что самолётные рейсы были крайне малочисленными,

---

[8] Ныне – Комарово.

[9] Как эта ситуация напоминает чернобыльскую катастрофу в Киеве и в окрестных городах и поселках, когда высшее руководство членов своих семей отправило на юг и в Болгарию, а рядовые трудящиеся шли на первомайские демонстрации прямо под радиоактивными облаками!

[10] Это стихотворение было опубликовано Е. Евтушенко в антологии «Строфы века» в 1994 году в издательстве «Полифакт».

[11] Так до 1937 года назывался город Пушкин.

посадки и лимиты строго регламентировались как минимум на городском уровне. Значит, у всех этих «летунов» были свои люди наверху. Разумеется, и самый «верх» составлял списки тех, кто подлежал крайне желательной эвакуации как *национальное достояние.* Но таких имен всегда было и есть крайне мало, а вот тех, кто выражает *национальное недостоинство,* всегда хватало с лихом!

До сих пор перед глазами стоят и вагоны того самого «эшелона на Восток». Наши писательские жёны отбирали для первоочередной эвакуации прежде всего малышей, но и малышей потеснили «тузы», «короли» и «валеты». Перераспределение происходило в Перми, где командовали опять же представители сей «знати», которые в результате всех интриг вытолкнули писательских жён и малышей в деревню *Чёрная* (очень, между прочим, эмоционально означенное название!). Обо всем этом мы узнавали в блокадном уже Ленинграде много месяцев спустя, но и в ту пору горькое предчувствие томило каждого из нас.

Когда стало формироваться Народное ополчение, то был создан так называемый писательский взвод – великолепное проявление, с одной стороны, патриотизма, а с другой – головотяпства. Если в армии Народного ополчения литераторов стремились использовать для работы по специальности, то Дзержинский райвоенкомат создал слабосильный *«взвод очкариков»* (их так сразу же и окрестили). Их сразу же бросили на передовую. Командовал этим взводом чудесный человек и своеобразный прозаик, герой челюскинской эпопеи Сергей Семёнов. Погиб в рядах этого взвода человек, которого я лично хорошо знал, – мой довоенный приятель поэт Евгений Панфилов. До сих пор история этого подразделения болью отзывается в моём сердце!

Однажды, уже в 70-е годы, мне довелось выступать на пленуме военно-патриотической комиссии Всероссийского театрального общества, речь шла прежде всего о репертуаре. Я в своем выступлении категорически протестовал против сильнейшей струи жертвенности, тем более жертвенности напрасной! В этом спектакле все погибли, в этом – тоже… А кто же в живых остался? Кто же победил? Нам непременно победителя показывать надо! А победить можно было и словом, как это блистательно сделала Крандиевская-Толстая. О том, какой страшный риск таился в её стихотворении, я думаю, и говорить не надо! А она, ученица русской литературы, с детских лет *лично* знавшая М. Горького, В. Короленко, Г. Успенского, не могла поступить иначе. Не могла! Толстовский девиз *«Не могу молчать!»* был в её сердце. Осталась в блокадном городе. Должна была остаться. Себе приказала.

Что же касается меня, то я себе приказал отправиться в одну из школ Выборгского района, где формировался полкленинградцев-добровольцев.

«Вот – величайшие достижения гения нашего народа! И вы, стоящие на переднем рубеже обороны Ленинграда, призваны их спасти и сохранить, а фашистские головорезы спят и видят втоптать их в грязь!» – таковы были итоговые тезисы моих политбесед.

Я всячески избегал сложных словесных конструкций, обильной терминологии, нагнетания незнакомых бойцам имён… Доходчивость, задушевность, сердечность – вот главные принципы наших бесед у черты обороны города. Правда, начинали бойцы знакомиться со мной ещё на сборных пунктах, но вскоре мы в 42-й армии встали у Пулковских высот, словно неприступная стена. От этой невидимой стены до совершенно реальных стен рейхстага и пролёг мой боевой путь.

И тут родилась чудная форма пропаганды – *окопные тетради!* Внешне – тетради как тетради, обычные, школьные. Прочти – передай товарищу! Написал сам, попроси соседа написать тоже – о себе, о друзьях-товарищах, о доме, о фронте, о заветных чувствах и мыслях… Дивные были это слова! Жаль, что сбереглось так мало! Эти окопные тетради необыкновенно сближали людей, знакомили их друг с другом несравнимо порою лучше, чем собрания, которые носили куда более официозный характер. Когда-то ещё выйдет номер газеты, когда она придёт именно в твой взвод, в твоё отделение!.. А вот окопная тетрадка обежала

путь, порою весьма длинный, и в твоё же отделение и вернулась! Один круг, два, три опишет такая тетрадка и вернётся ко мне. Бездна материала! Что-то сгодится для дивизионной и армейской газеты «Ущр по врагу», о чём-то можно и нужно будет сообщить в нашу фронтовую – «На страже Родины», что-то для очередных бесед использую, а бывали страницы с таким дальним прицелом, что мне казалось, будто мне, уже в далёкие послевоенные годы, адресованы те или иные слова.

Вскоре меня прикомандировали к Объединенной киностудии[12] и привлекли к сценарной работе, посчитав её главной, однако, полностью не освободив от прежних обязанностей. С одной стороны, нагрузка возросла, а с другой – появилась *несравнимая ни с чем возможность самостоятельного планирования времени*, что, согласитесь, и в обычной-то гражданской жизни большая редкость и подлинное чудо, а в армии да ещё в военное время вообще *чудо из чудес*! Так я получил возможность СВОБОДНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО БЛОКАДНОМУ ГОРОДУ и видеть то, что совершенно было бы недоступно мне в иных ситуациях. Мне дозволялось и самостоятельное планирование, и посещение музеев и библиотек, давалась возможность завязывать деловые и творческие контакты, то есть делать то, что я, как профессиональный писатель, делал в совсем ещё недавние довоенные дни.

Повезло мне в этом смысле как литератору и позволило всё это не только построить по-своему работу в военные годы, но и определило во многом мои планы на последующую жизнь. Во всяком случае, книгу *«Были пламенных лет» я* бы в противном случае никогда бы не написал!

Таким образом, блокаду мне довелось видеть как бы с разных сторон, с разных ракурсов, выражаясь кинематографически. Оказавшись в ближних тылах, я всегда имел возможность, миновав контрольно-пропускной пункт у Московских ворот (тогда они были разобраны, воссозданы уже в послевоенные годы) и опять попасть прямо в окопы к своим фронтовым друзьям-товарищам.

Признаюсь честно, от начальства мне частенько доставалось, как оно выражалось, за «панибратство», за «отсутствие чувства субординации». Но для меня, по духу человека штатского, звания и должности носили формально-деловой характер и *никогда* не определяли ни человеческой сущности, ни сущности человеческих отношений. Посему бойцы и младшие командиры встречали меня душевно, запросто, что видно и из сохранившихся в моем фронтовом архиве фотографий. Вот так же запросто я и вникал в секреты боевого мастерства у наших славных снайперов – *Феодосия Смолячкова, Александра Говорухина, Николая Остудина* и *Ивана Добрика.* Эти парни столько фрицев уложили, что собой, ну, может, целый батальон пехотный заменить смогли!

То, что у меня не было одной, неизменной точки наблюдения за происходящими событиями, оказалось, пожалуй, самым главным в моём фронтовом опыте: широкая кинематографическая панорама жизни, сражающейся со смертью, предстала перед моим, отнюдь уже не юношеским взором. Бывало даже так: в течение одного дня я был то фронтовиком, то блокадником, то почти военным человеком, то опять сугубо штатским, насколько это возможно в городе-фронте, в осаде. И я не раз подумал о том, что это необычная вольность (и это-то при моём очень скромном воинском звании: сперва меня аттестовали заново на *интенданта Шранга,* а затем я стал *старшим лейтенантом* – дальше роста не было[13] – надо было соглашаться на ряд должностей административного характера, а этого мне делать *решительно* не

[12] См. подробнее об Объединенной киностудии.

[13] И всё же на короткое время Н. А. Сотников был назначен ответственным секретарём дивизионной газеты, но вскоре вновь стал корреспондентом.

хотелось!) сродни той вольности, которая была у моих давних предков – казаков запорожских, от которых я унаследовал не только фамилию.[14]*

Зима сорок первого года, сорок второй год принесли мне немало ярких впечатлений и открытий: это и творческая дружба с воинами и с блокадниками, и возрождение кинохроники и кинодокументалистики, и создание профессионального ансамбля 42-й армии, и, конечно же, повседневная работа в дивизионной, армейской и фронтовой печати.

Объявилась война сразу, а пришла в наш дом и в наши сердца далеко не вдруг: к тому, что она, война, идёт и будет идти долго, надо было привыкать. Тогда, в сорок первом, я не раз вспоминал свой боевой опыт времён Гражданской войны и совсем недавний и постоянно задавал себе вопрос: «Что можно взять на вооружение в плане духовного опыта, а что нет?» Этот вопрос, по-моему, был и остаётся главным в военно-исторической теме в литературе и в других видах искусства. Одно изречение вспоминалось постоянно – это слова комбрига Котовского, у которого во взводе охраны штаба я начинал свой воинский путь: *«Не тот боец, кто испытал тягость поражений, а тот, кто испытал вкус победы!»*

Один эпизод по-кинематографически ярко вижу я до сих пор. У самых Пулковских высот, где красуются гранитные и мраморные творения Воронихина, – первые разрозненные, измождённые, крайне удручённые группы отступающих солдат и младших командиров. Зрелище это куда более тягостное, нежели встречи с многочисленными беженцами из числа самых что ни есть мирных граждан. Среди них – старики, женщины, дети… Как их упрекнуть в отсутствии боевого, наступательного духа! Другое дело – бойцы с оружием в руках. Их непременно надо остановить, заставить себя слушать, дать им опомниться, вернуть их в строй, а главное – настроить их души, перестроить их настроение.

Мне таких приказов тоже формально никто не давал. И этот приказ, как и многие другие *самоприказы, я* отдал себе сам. И помогла мне вновь юность моя. Я вспомнил 1918 год, такие же группы солдат старой русской армии – кто из плена, как в пьесе Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия», кто из окружения недавнего, кто просто так, отсиживался по лесам да по хуторам… И вот они маленькими группами тянутся на Родину. А я, ещё в сущности мальчишка, недавний ученик-реалист из Полтавы, иду им навстречу со словами привета, понимания, участия. Мы делаем привал, кто-то поправляет одежду, прилаживает обувку… Первые слова, первые взаимные взгляды – глаза в глаза.

«Нет, – говорю я им, – не погибла Родина, не погибла наша армия. Где она? Да вот она! *Это – вы.* Вы и есть будущая армия!»

Примерно так я вёл свои первые беседы в том самом девятнадцатом году на Украине. Так я говорил и тогда у самых Пулковских высот в самые страшные первые дни Великой Отечественной. Это и были первые наши шаги к Победе в мае сорок пятого.

Н.А. Сотников. Окопные тетради

Прежде всего, давайте условимся, что так называемые ОКОПНЫЕ ТЕТРАДИ, придуманные мною на рубежах обороны Ленинграда в 1941 году, и просто тетради, *побывавшие в окопах*, *– это не одно и то же,* хотя материал, так сказать, един – ученическая школьная тонкая тетрадка. ОКОПНЫЕ ТЕТРАДИ – это своеобразная газета (а порою и журнал), в которой между читателями и авторами почти нет границы, это продукт коллективного творчества, между прочим, не предусмотренный никакими приказами и инструкциями, за что меня неоднократно ругали и командиры, и вышестоящие политработники. Просто тетрадь, побывав-

[14] Условно говоря, сотники – как бы командиры рот, входивших в полки. Чаще всего избирались рядовыми запорожскими казаками. Могли быть за провинности и неумения сняты со своих должностей. В мирное (относительно!) время выполняли не только военные обязанности, но и административные, и судебные, что отлично показано в романе в стихах Лины Костенко «Маруся Чурай».. Этот роман в стихах можно прочесть только на украинском языке.

шая в окопах, это разновидность журналистского блокнота, но она менее долговечна. Зато она позволяет мне как журналисту, писателю, сценаристу вести довольно длинную строку, почти такую, как на пишущей машинке по числу знаков, что очень удобно в работе. Естественно, я такую тетрадку никому не даю, это *мой личный черновик.* Как это ни странно, но именно такие тетрадки у меня сохранились до конца войны и основательно помогли мне в послевоенных литературных трудах.

ОКОПНЫЕ же ТЕТРАДИ прошли через десятки, если не через сотни рук, рук отнюдь не стерильных (окопная грязь, ржавчина, смазка оружия и т. д., и т. п.). Как хорошо, что я наиболее ценные записи переписывал начисто уже в свои, собственные, тетради. Вот на них-то я и буду ссылаться в этом очерке.

Живительное дело, мои послевоенные слушатели (а я, как писатель, очень любил живое общение с читателями) изо всех намеченных мною тем более всего интересовались именно ОКОПНЫМИ ТЕТРАДЯМИ. Вероятно, привлекла новизна: *такого* ещё не было, *такого* они не знали.

Ну, а теперь, как родились эти самые ОКОПНЫЕ ТЕТРАДИ. И, увы, о том, как они прекратили свои короткие жизни.

Наш полк Народного ополчения уходил с Выборгской стороны на огневые позиции. На улицах ещё было людно. Позванивали трамваи, хлопали дверцы автобусов.

Сейчас, спустя много лет, перечитываю эти строчки и вспоминаю публицистические заметки Ольги Федоровны Берггольц о самом начале войны. Оказывается, первое время продолжали работать рестораны с оркестрами, надо было очень внимательно приглядеться к прохожим на Невском проспекте, чтобы уловить военную новизну… Недаром я решился назвать один из своих очерков так: *«Война пришла в наш дом не сразу»*!

Лично я это *«не сразу»* ощущал, возможно, меньше, чем другие: помогал мне в этом мой военный опыт, армейская школа с юношеских лет, профессия литератора, у которого, что ни говори, а чувство предвидения, прогноза – в крови. Ведь в этом – суть художественного творчества.

Да, где-то я проявил беспечность: можно было кое-какими простейшими продуктами и товарами запастись, организовать свой личный тыл практичнее, но я был буквально одержим своим устройством в строй и многое упустил. Прилавки пустели решительно и неуклонно.

Дома у меня, на Мойке, *никаких запасов не было*, так как я намеревался прожить до конца лета с выходом на осень в Комарово. Соседи по нашей коммунальной квартире проявили куда большую, чем я, практичность и эвакуировались при первой же возможности. Таким образом я впервые в жизни оказался жильцом как бы отдельной квартиры, которую мне неудержимо хотелось посетить перед отправкой на фронт. В то же время мне чисто психологически не следовало слишком заметно выделяться из ополченческих рядов, и я в строю пошёл на фронт вместе со всеми.

… Литейный мост, Литейный проспект, Владимирский, Загородный, Международный (ныне – Московский). Вот и Московская застава. Фронтовая полоса начиналась у новостройки огромного Дома Советов. Там уже стояли наши замаскированные танки.

Повсюду велись оборонные работы: город превращался в крепость. Домохозяйки, школьники, пенсионеры, молодые бойцы отрядов самообороны строили доты у своих домов, дзоты – на улицах и в переулках. Устанавливались надолбы и рогатки на перекрестках. Возникали баррикады даже из трамвайных вагонов тех маршрутов, которые уже никуда не вели.

Отовсюду шли ополченцы на ближний фронт: от Нарвской и Московской застав, с Петроградской и Выборгской сторон, с Васильевского острова. Всех их встречали плакаты *«Народ и армия непобедимы!»* Корецкого, *«Поднимайтесь, советские люди!»* и *«Родина зовёт»* Толкачева, *«Били, бьём и будем бить!»* и «*Вступайте в ряды Народного ополчения!»* Серова.

И вот ещё что очень важно подчеркнуть: новобранцы шли по путям недавних битв за социализм мимо фабрики «Равенство», где родилась первая в нашей стране ударная бригада, мимо завода «Красный выборжец», где возник первый в Советском Союзе договор на социалистическое соревнование, мимо Пролетарского завода имени Ленина (это предприятие было прославлено первым Днём индустриализации), мимо Металлического завода – первенца первого встречного плана. Новейшая история шла нам навстречу и властно напоминала о том, какие у нас были выдающиеся завоевания во всех сферах жизни. *Есть нам, за что бороться, есть, что защищать*! Этот мотив я всячески обыгрывал и как пропагандист, и как газетный журналист.

По пути следования у нас возникла какая-то сравнительно продолжительная остановка, и я отпросился сбегать к себе домой. Хотя шёл я сравнительно быстро, но не мог не отметить для себя вехи на пути – вехи в истории: вот книжная типография Смирдина, выпускавшая первые книги Пушкина, вот квартира Рылеева, неподалеку дом, где жил юный Лермонтов… Воистину, говоря пушкинскими словами, *«здесь каждый шаг в душе рождает воспоминанья прежних лет».*

Но вот и громада моего дома. С горечью прошёлся я по опустевшей квартире, постоял у книжных полок… С родным жильём прощаются, как с родными людьми. А что у меня теперь будет? Землянки, блиндаж, возможно, госпитальные палаты, теплушки в поездах, чужое временное жильё… Так в итоге всё и произошло в моей судьбе.

Хотел взять с собой хотя бы несколько книг, но раздумал, а вот школьными тетрадками запасся. И не прогадал! Они сослужили добрую службу – и не мне одному.

Вышел, добрался до места временной нашей остановки… Никого! А тут, на счастье, последний трамвай 39-го маршрута. Он и привёз меня на войну. Вагон подошёл к кольцу за Средней Рогаткой, приостановился, сердито заскрежетав колёсами на повороте, и заторопился обратно в город. Позже я узнал его: он стал баррикадой…

Из-за Пулковских высот густо летели на нас немецкие снаряды, и я укрылся за насыпью железной дороги. Неподалёку от нас на поле гражданского аэродрома размещались огневые позиции наших миномётчиков, а немцы всё больше и больше зарывались в землю, больше не решаясь наступать. Как выяснилось, их сильно напугал мифический *«пояс Ворошилова»,* который якобы подобно линии Мажино проходил на городских руб ежах. А на самом деле «железобетонным» поясом были наши наспех вырытые землянки и канавы неполного профиля. *Зато через наши души проходил никому не видимый мощнейший вал обороны!*

В разрушенном селении Каменка помещался штаб нашего полка. Стал накрапывать дождь, но утомлённые ополченцы устроились на короткий отдых в придорожных кюветах. Вскоре из-за холма потянулась к нам цепочка женщин, которые не успели вырыть для нас окопы полного профиля. Они передавали нам свои лопаты и горестно вздыхали. Бойцы, получив лопаты, двинулись в полумраке к своим будущим позициям и там принялись зарываться в землю, ибо на войне, да ещё на передовой это первейшая забота и необходимость.

Временами ополченцы устраивали перерыв, но не для того, чтобы посидеть или тем более полежать: они проходили тренировки под прикрытием железнодорожной насыпи. Вообще, надо сказать, у ополченцев в целом дисциплина была на высоком уровне, да и возраста у нас оказались посолиднее: многим – за сорок, за пятьдесят и даже более того. В других частях среди рядовых таких «стариков» не встречалось.

Неожиданно из-за насыпи появился парторг части и, увидев меня, поручил мне быть в *полку политинформатором,* чему я очень обрадовался: ведь это *почти моя профессия*!

Не мешает сказать о том, что парторг почему-то твёрдо решил, что я – член партии, а я был беспартийным, так как вместе со многими единомышленниками вышел из рядов партии в знак несогласия с НЭПом. Об этом у нас мало говорят и пишут, а ведь ТОГДА были и

психические расстройства на этой почве (опять буржуи над нами!), и даже самоубийства. В литературе эта волнующая тема прошла как-то вскользь, но я не скажу, что антинэповских мотивов не было совсем: вспомним и «Гадюку» Алексея Толстого, и высказывания Николая Тихонова, и стихи, например, Михаила Светлова. Однако вал и жар индустриализации оказался необыкновенно целебным лекарством, и колеблющиеся воспряли духом. Подумывал о возвращении в партийные ряды и я, но весьма солидные должности (номенклатурные, как их потом стали называть) доставались мне при минимуме придирок к анкетным данным, в том числе и к графе «ОБРАЗОВАНИЕ»: ведь полнокровного высшего законченного образования я так и не получил. Но это, впрочем, тема для другой главы или даже другого очерка.

Мне как политинформатору был определён свой распорядок суток: до ночи спать, а затем в темноте ходить по ротам, собирать от политруков сведения об окопной жизни и готовить политдонесения.

И вот я брожу все ночи подряд по нашему участку фронта, который проходит с удивительной точностью по воображаемой линии Пулковского меридиана. В просветах туч иногда вижу я руины нашей знаменитой обсерватории. Через эту точку, обозначенную на всех картах, сейчас в обе стороны летят снаряды.

Ночь сырая, глухая. Все спят в окопах за исключением дозорных. Начинаю приспосабливаться к новой для себя обстановке. Порою враг спросонья обстреливал придорожные заснеженные кусты. Посему я решил ходить напрямик открытым полем. Так было безопасней. Когда на меня пикировал фашистский стервятник, я не падал в снег, чтобы не увеличивать площади пулеметного обстрела, а лишь останавливался и грозил врагу кулаком. Он меня – свинцом, а я его – кулаком! Так мы с ними без переводчиков и разговаривали!

Продолжаю идти в кромешной тьме, ориентируясь по вспышкам цветных немецких ракет. Прихожу в первую роту. Бужу в землянке политрука. Оставляю ему одну из своих ОКОПНЫХ ТЕТРАДЕЙ: пиши, мол, сам о том, что у тебя в роте было вчера.

Добираюсь до следующего подразделения. Там тоже поднимаю политрука и даю ему тетрадку, а на обратном пути из третьей роты этого батальона забираю свои тетрадки с крайне интересными записями!

Бывало, что я кое-что записывал или дописывал со слов. Чаще всего это приходилось делать в боевом охранении, где люди не могли менять даже на короткое время винтовку на карандаш.

Перечитываю тетрадки. Оказывается, стали писать не только политруки, но и рядовые бойцы! Я несказанно обрадовался и стал для рядовых оставлять ещё одну тетрадку.

Газеты, увы, доходили до передовых позиций с перебоями, а тут, глядишь, и *своя газета* появилась! Последние известия – да ещё с соседнего участка!

Однажды один безымянный автор, но, судя по всему, человек и знающий астрономию, и не без литературных способностей, написал целую оду во славу нашей астрономической науки и выразил уверенность в победе и восстановлении родной обсерватории.

После таких находок я возвращался в родную землянку богачом! Веселей становилось на душе. Какие замечательные люди стоят на страже родного города! Они плохо вооружены, слабо экипированы, животы у них подтянуты из-за скудных пайков, а гляди – бодры, остроумны, готовы к новым испытаниям!

Порою ОКОПНЫЕ ТЕТРАДИ раскрывали и состояние духа врага:

«Немец нервничает. Стреляет с перепугу куда попало. Шёл он господином к Ленинграду в полный рост, а тут, у самого города, какие-то ополченцы заставляют его зарываться в землю, как слепого крота!»

В другой тетрадке говорилось о враге так:

«Не могут они понять, что у нас действует железный закон: “Позади Ленинград, и отступать некуда!”»

А ведь и верно: *враги ни шагу вперед не прошли за все 900 дней*!

Третий боец пишет:

«*Только через мой труп мог бы проползти гад к моему родному городу, где я родился и вырос!*»

При свете коптилки снова разбираю добытые в моих ночных походах сокровища. Народ в ротах ополченцев культурный: много вузовских преподавателей, инженеров, есть артисты, музыканты… А я как сценарист монтирую живо изложенные эпизоды в единое политдонесение, ну, а то, что не годилось в сводку по особой эмоциональности, при особой редактуре подходило для нашей дивизионной газеты. Правда, бывают такие словечки в такой концентрации, что никакая редактура не поможет: слишком крепко, забористо кроют врага наши люди!

Встречаются и такие коротенькие репортажи прямо с места действия:

«Два *бойца вышли из траншей за "языком". Во мраке зимней ночи они напоролись на минное поле, где прежде были пригородные огороды. Казалось, что там каждый мёрзлый капустный кочан взрывался при малейшем прикосновении! Одна из коварных мин внезапно и гулко разорвалась. Разведчик был ранен. Моментально сюда хлынул поток свинца. Ополченцы укрылись в воронке. Они полагали, что снаряды в одно место дважды не ложатся…*

Переждав долгий вражеский обстрел, раненый больше всего мучился от нестерпимой сорокаградусной стужи. И напарник нашёл выход: он стал согревать друга своим телом, ложась то с правой, то елевой стороны, пока обстановка не позволила утащить раненого в ближайший окоп и сделать ему перевязку».

Этот крохотный рассказик перепечатала наша дивизионная газета.

Вскоре мне довелось познакомиться с неотправленными письмами убитых фашистских вояк. В этих письмах были бесконечные жалобы на быт, погодные условия и сплошное нытьё! Контраст очевиден!

… Под утро я обычно завершал свою работу на пишущей машинке, вычитывал текст и шёл будить комиссара полка, давать ему на подпись сводку политдонесений. Затем я должен был отправляться в политотдел дивизии, который находился в толщи насыпи железнодорожного полотна. Напоминаю, что всё это проделывал беспартийный человек с очень скромными военными познаниями, которые, однако, постепенно всё же пополнялись и упорядочивались.

Наконец я добирался до землянки и засыпал сном праведника.

А вот прочтите! Всего лишь несколько строк, а какая судьба! Говоря профессионально, *пример единства места.*

«Старый пулемётчик И. Е. Иванов во второй раз защищает Пулковские высоты. В 1919 году на этом же самом месте питерский железнодорожник командовал пулемётным взводом».

ОКОПНЫЕ ТЕТРАДИ сближали людей, делали их друзьями, волновали сердца. Вот что писали о своём командире Сочневе бойцы его роты:

«Это был прекрасный, чёткий и волевой командир. Вместе с бойцом Емельяновым Сочнее пошёл в разведку. Они захватили вражеский пулемёт и принесли важные документы».

Лично я знал Сочнева. Он не раз заходил в нашу землянку, делился последними новостями, советовался… И мне же пришлось проводить его в последний путь! Тело храбреца мы доставили на санках к воротам его родного завода «Светлана». Рабочие похоронили своего заводчанина, знающего и умеющего техника, на Выборгской стороне. А я проведал его вдову и сынишку и передал им паёк мужа и отца.

На других участках фронтов такая ситуация была почти немыслимая, но никогда не надо забывать, что мы – *город-фронт, фронт-город.*

Сочневцы люто отомстили за гибель своего любимого командира: связист Киреев принял на себя командование и бросился в атаку, а снайпер Петров метким выстрелом снял с дерева вражескую *«кукушку»*[15] и захватил автомат убитого немца. Помкомвзвода Иванов подкрался к дому, где засели враги, пристроился под окном и заорал: «Фриц! Сдавайся!» Тут же в окно высунулся автомат, Иванов схватил своей сильной рукой дуло и… вытащил в окно наружу немецкого негодяя!

Все это тоже нашло отражение в очередном «выпуске» ОКОПНОЙ ТЕТРАДИ. Новости окопной жизни ярко раскрывали русские, подлинно теркинские, характеры защитников нашего города! К примеру сказать, наши воины стали овладевать искусством… *жонглирования гранатами*\ Это, конечно, не цирк, но по-хлещё любого цирка. Помкомвзвода Егоров записал в ОКОПНОЙ ТЕТРАДКЕ:

«К нашему окопу подкрался немецкий офицер и с диким рёвом: “Здравству́й, русски́й!” метнул на нас ручную гранату. Младший командир Семенов перехватил её налету и вернул по самому прямому назначению! Немец упал и больше не поднялся».

А боец миномётной роты Михайлов такой эпизод припомнил:

«К нашему окопу под прикрытием автоматного огня приблизились фашисты и кинули гранату. Она ещё дымилась. Я схватил её и швырнул обратно. Взрыв! Немцы убежали, бросив в панике ручной пулемёт, который нам потом очень пригодился».

Героями «тетрадочных» записей были и тыловики:

«Повар Орлов, повозные Фролов и Филин потащили на позицию кухню и боеприпасы. Обозников жестоко обстреляли. Всё же они сварили обед в лощинке и разнесли суп в вёдрах и цинки с патронами прямо к рабочим местам бойцов, не считаясь с вражеским огнём».

В ту пору медаль была очень большой редкостью. Наградой служил приём в партию или в комсомол. Вот одна из записей:

«Сегодня приняли в комсомол сандружинницу Нину Васильеву. Она вынесла из-под огня 15 раненых…».

О наших ОКОПНЫХ ТЕТРАДЯХ пошла молва и докатилась до товарищей по перу. Некоторые городские корреспонденты прямо заявляли, что в этой землянке под Пулковскими высотами всегда можно найти свежий материал и… использовать его в своей газете!

Однако стопка школьных тетрадей иссякла. Меня отпустили домой на побывку. (С кем? С прошлыми светлыми творческими днями? С родными книгами?..) И я, старательно полазив по ящикам и антресолям, обнаружил несколько школьных альбомов для рисования! А что? Тоже в дело пойдут! Бумага поплотнее, листы пошире!..

Ополченец, художник-профессионал Непомнящий (между прочим, он был одним из авторов оформления советского павильона на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Вот какие кадры были у нас среди ополченцев! Залюбуешься!) стал оформлять ОКОПНЫЕ АЛЬБОМЫ веньетками и даже зарисовками с натуры. Так мы превратились в окопный иллюстрированный *журнал!*

Вскоре у ОКОПНЫХ АЛЬБОМОВ появилась и ещё одна функция. Они стали исходным материалом для репертуара ансамбля песни и пляски нашей армии. Мне поручили помочь театральному режиссёру Морщихину** собрать труппу из числа блокадников. Мы обходили знакомые нам адреса, а также зачастую госпитали и больницы и приглашали на работу и… на войну профессиональных музыкантов и чтецов. Отощавшие за зиму мастера искусства были поставлены на красноармейское довольствие и с жаром принялись за репетиции и выступления!

[15] Краткий комментарий см. ниже.

И кинодокументалистике помогли БЛОКАДНЫЕ АЛЬБОМЫ! Нам с кинорежиссёром Сергеем Якушевым было поручено обобщить опыт снайперского движения. Мы не стали мудрить с названием киноленты и назвали её просто и чётко: *«Снайперы».*[16]

Лично я слышал, как прогремели первые сверхметкие выстрелы людей, имена которых стали легендарными: *Феодосия Смолячко в а, Александра Говорухина, Николая Остудина и Ивана Добрика.**** Прямо для фильма подошли краткие записи ОКОННЫХ АЛЬБОМОВ:

«Немец споткнулся о пулю снайпера Смолячкова».

«Нынче Гитлер недосчитался двоих вояк с помощью Добрика».

«Три выстрела – три трупа».

«Смертоносная бухгалтерия снайперов»…

Кое-что из таких же записей пошло в дикторские тексты выпусков кинохроники и для режиссёра Валерия Соловцева к его фильму «*Прорыв блокады Ленинграда»…*

… Спустя многие годы, рассказывая об ОКОПНЫХ ТЕТРАДЯХ и АЛЬБОМАХ, я неизменно подчеркиваю, что вижу их кровное родство с автографами Победы на рейхстаге в мае 1945 года:

«Дошел от Невы до Шпрее военкор старший лейтенант Н.А. Сотников».

А ведь без ОКОПНЫХ ТЕТРАДЕЙ не было бы и этого автографа.

Краткий комментарий, без которого современный читатель может не всё понять

Автор комментариев Н.Н. Сотников

* Кукушка – в значении *вражеский снайпер*, который прятался, как правило, среди листвы или хвои высоких деревьев, иногда для таких снайперов специально оборудовалось «гнездо» с тайниками боеприпасов и продуктов. Впервые образный этот термин появился в Финскую, так называемую Зимнюю, войну, но в годы Великой Отечественной войны его перенесли не только ветераны, участники Зимней войны, но и людская молва.

В нынешнее время некоторые негодяи из числа демопредателей стали на страницах прессы вообще отрицать существование финских кукушек, утверждая, что это – «миф русской пропаганды»! Сами-то эти авторы уж точно – и не патриоты, и не русские.

Затем он получил название *«Снайперы Ленинградского фронта».*

** С Морщихиным у меня, как у сына автора и его правового и духовного наследника; выходила какая-то незадача. К именам первого ранга в истории ленинградского драматического театра он не относился; ветеранов среди театральных работников и зрителей-театралов той; уже далёкой поры, я не застал. Не мог я и опознать Морщихина среди тех участников ансамбля 42-й армии; которые сфотографировались на память.

Как всегда бывает в таких случаях; помогли совершенно неожиданные обстоятельства. Отец в одном из черновиков по-дружески назвал режиссёра: *«Наш знаменитый бородач».* Я пригляделся… С бородой и примерно ТОГО возраста только один. Это и есть Морщихин! Позже я, опять же случайно; узнал его инициалы: С. *Л. Морщихин.* Удивился; оказывается; ещё до войны он был не очередным; а ГЛАВНЫМ режиссёром нашего Театра Ленинского комсомола; получившего ныне космополитическое прозвище «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ». Это – опять же – к вопросу о «кукушках»! В другом тексте я вычитал; что Морщихин одно время партизанил (?); а в другом – был командиром роты (!). Очень я порадовался; узнав; что Морщихин дожил до Победы и после войны работал в Театре имени Ленинского комсомола. Отец Морщихина уважал и ценил.

*** Теперь – о снайперах. Каждый ли, даже умелый и опытный боец, может быть снайпером? Нет! В Советской Армии в мотострелковом взводе предусматривались по штату

[16] Затем он получил название «*Снайперы Ленинградского фронта».*

один гранатомётчик (не ручной; а из специального гранатомёта) и один снайпер с оптической винтовкой. В редчайших случаях эта схема переносилась на отделение; то есть снайпером был один из 10 солдат. Казалось *бы,* из оптической винтовки стрелять удобнее… И да, и нет! Нужен особый навык; более того – особые склонности. Как мне говорили ветераны; очень ценились охотники-промысловики; пулевые стрелки-спортсмены. Прекрасными снайперами были горцы; представители маленького народа тафалароВ; про которых говорят; что их мальчики рождаются с ружьём.

Изредка снайперами были женщины. Мне встретилась цифра по Ленинградскому фронту: 4500 снайперов за всё время обороны Ленинграда. Что-то уж больно много! Почти – свежая бригада; на манер той; которой у нас на Ленинградском фронте; делая смелые и рисковые рейды, командовал мой автор и старший товарищ Яков Потехин (я был редактором серии его очерков «Юность боевая»)! Нет, цифра явно завышена. Важно понять; какой минимальный был отсчёт. Например; Смолячков уложил *почти целую роту фашистов*! Вот это результативность!

А ведь были бойцы; которые НАВЕРНЯКА не могли сказать; что пригвоздили хоть одного врага. Выходит, снайперы «отдувались» и за таких неумех. Только ли неумех?!.

«Снайпер в разведку не годится! Он мне всех языков перебьёт!» – говорил мне один ветеран. Психологический фактор! Вот что самое главное. Слишком горячий человек – плохой снайпер, флегматик – тоже. Слишком азартный – быстро себя выдаст и погибнет. Лишённый боевого азарта резко снизит свои показатели.

«Снайпер – это особый талант!» – говорил мне на студенческих сборах под Выборгом мой любимый командир и педагог мотострелок высшего класса капитан А. И. Кажданов и признавался: «Вот я – из лесников, с охотой с детства в ладах, а чувствую, что в современном бою в снайперы не пригожусь. Есть ещё один момент: снайпер – истребитель. Он сеет смерть. Он видит в оптический прицел результат своего труда. Снайперу нет смысла за редчайшими исключениями (а они на войне бывали!) ранить врага. Среди снайперов часто встречаются люди дерзкие, с вызовом, с элементами хвастовства, горделивости. Паймальчик никогда снайпером не станет, а вот дворовый озорник, ребячий заводила – другое дело…».

Прав был наш Авенир Иванович! Мне и отец говорил о том, что все снайперы, с которыми он общался, были по характерам люди отнюдь не сахарные. Например, Смолячков мог и нагрубить старшему по званию. Отец ему годился в отцы, а Феодосий отнюдь не почтительно спросил его: «Ну, что, журналист, только смотреть будете или сами захотите винтовочку попробовать?» Отец не пришёл в восторг от такого вопроса в таком тоне, но ответил: «Чего ж, в Гражданскую приходилось из карабина на скаку стрелять! Давай винтовку и командуй!» Так отец подстрелил одного немца, а Смолячков спрашивает: «На кого записывать будем?» Отец тут же ответил: «На Вас, Феодосий. Я-то ведь в основном словами стреляю». Второго немца отец убил из пистолета в Берлине, отомстив за гибель своего друга-однополчанина по редакции газеты 61-й армии. Получается, что за всю войну – «приделал» только двух. Немало размышлял я о результативности боевых дел.

А вообще-то тема *«Снайпер и современность»* не закрыта. В Афганистане, например, наши парни стреляли из трофейных английских снайперских винтовок на расстояние около полутора километров! Об этом мне, как редактору военного сборника «Поверка», поведал один из авторов.

P.S. Лично я видел образцы «Книжек снайпера» в музее Западного военного округа, но – за стеклянной витриной. Посему отчётность мне проанализировать не удалось.

Н.А. Сотников. Три встречи с будущим патриархом

Для меня с самого начала моей журналистской деятельности (а началась она ещё в Красной Армии в годы Гражданской войны) заголовок – основа основ. Пока не придумаю заголовок, не могу писать, хоть убей! У этого очерка сменилось несколько заголовков, и все они меня не устраивали. Первый был *«В старом храме».* Храмов много, не все они православные, да и что, в сущности, такое название отразит? *«Заказной фильм»* тоже не годится: сколько их было, есть и будет на наших студиях!.. *«Особое задание фронтовому сценаристу»* – это уже ближе к действительности, но в этом названии нет адреса и вовсе не понять, какого рода это было задание. А вот последний вариант при всей простоте меня вполне устроил. Каждый более менее сведущий человек поймёт, что речь идет об Алексии (*Симанском*), митрополите Ленинградском и Новгородском, будущем патриархе Московском и всея Руси. Из заголовка не следует только, *когда* эти были встречи, ибо где, понятно – скорее всего, *именно в Ленинграде.*

Именно в Ленинграде, на Ленинградском фронте (а где был город, где фронт, даже бывалый воин порой затруднится точно указать) я продолжил свою работу как кинодокументалист, как драматург. Меня отозвали, откомандировали с фронта на Объединенную киностудию, которая имела базой студию Ленкинохроники (ЛКХ, как её по привычке до сих пор именуют ветераны кинодокументалистики). О своей сценарной работе в блокадном Ленинграде я рассказал в очерке *«Вот мой отчёт перед Победой».* Об одной работе только я в нём не сказал ни слова – о фильме с длинным названием *«Сбор ленинградскими верующими денег и драгоценностей на танковую колонну имени Дмитрия Донского и эскадрилию имени Александра Невского».* Не очень-то завлекательно звучит, слишком скупо и пространно, но тут я не волен был что-то менять. Вообще в этом фильме от меня как от драматурга мало что зависело. Я выступал больше в роли продюсера, организатора, уполномоченного распорядителя, прораба, но и, конечно, всё-таки автора сценария и дикторского текста.

Скажу сразу – это был приказ, боевое задание и, как мне намекнули, задание правительственное. Фильм предназначался для показа за рубежом, цели имел пропагандистские, должен был способствовать открытию Второго фронта, а уже одно это не могло не вдохновить военкора и военного фронтового сценариста в блокадном Ленинграде!

С самого начала фильму были созданы максимально привилегированные условия – и не только по военным, блокадным меркам. Он должен был в производственном отношении идти по «зелёной улице». Высокие полномочия давались на период работы над фильмом и мне. Во всяком случае, я таких более никогда не имел. Любая моя просьба по этому фильму воспринималась как приказ.

Совсем не простым было для меня и решение испросить согласие стать консультантом этого фильма митрополита Алексия. О нём я знал очень мало, даже не представляя себе, как он выглядит, совершенно не ведал его биографии, вкусов, пристрастий. Ведь драматург должен работать с научным консультантом, находить с ним общий язык, быть его единомышленником…

Научным консультантом… А тут в лучшем случае богословие!.. *Единомышленником*!.. Это меня смущало более всего.

Я вырос в рабочей семье. Когда современные историки и философы говорят об атеизме пролетариата в России в начале века, они ничего не преувеличивают. Я знал друзей отца, участника революционных событий 1905 года, знал его товарищей по депо в Полтаве, бывал во многих рабочих семьях. Редко у кого были иконы, ещё реже горела лампада. На вопрос или красноречивое молчание гостя хозяин отмахивался: «Для матери (или для тёщи) держу…». В красном углу у рабочих чаще всего бывала нехитрая книжная полка с дешё-

выми изданиями легального характера. Нелегальную литературу тщательно прятали. Один деповский слесарь так прямо держал листовки за окладом тёщиной иконы!

В церковь не ходили, церковные праздники не отмечали. Разве что Рождество, но в каком-то украинско-патриархальном духе и то, больше в Диканьке, а не в Полтаве. В Диканьке – другое дело. Но тоже ни фанатизма, ни точного следования церковному календарю не припомню. Очень многое делалось по привычки, по-бытовому, по-житейски. Ни одного церковного ортодокса или фанатика тем паче не припомню.

Думаю, что лучше всего это время в плане отношения к религии охарактеризовал Александр Петрович Довженко в своей гениальной, пленительной и до сих пор неразгаданной, как и всё прекрасное, кинопоэме в прозе «Зачарованная Десна»: «…У нас на Украине простые люди в Бога не особенно верили. Персонально верили больше в святых, в Матерь Божью, в Николая Угодника, Пантелеймона, Илью, верили также в нечистую силу. Самого же бога не то, чтоб не признавали, а просто из деликатности не отваживались утруждать непосредственно. Повседневные свои интересы простые люди хорошего воспитания, к которым относилась и наша семья, считали по скромности недостойными божественного вмешательства. Поэтому с молитвами обращались в более мелкие инстанции, к тому же Николаю, Петру и прочим. У женщин была своя стёжка – они доверяли свои жалобы Божьей Матери, а та уже передавала Сыну или Духу Святому в виде голубя. Верили в праздники. Помнится, баба нередко говорила мне: “А чтоб побило тебя святое Рождество” или “Побей его, святая Пасха”». А дальше – текст ещё остроумнее, ещё лукавее. Прочтите, не пожалеете!

Александра Петровича я знал лично по секции драматургии в Москве, но за суетой и спешкой так и не удалось поговорить спокойно, неторопливо, по душам, в том числе – и об Украине времён нашего детства. Он ведь был старше меня всего на шесть лет! И дороги наши часто пересекались. От Полтавщины до Черниговщины, от Сосниц до Диканьки не так уж далеко даже по тем временам, а по нынешним – и тем паче! Меня под Житомиром ранили, а его чуть было белополяки не расстреляли. Он был участником освободительного похода Красной Армии на Западную Украину. Довелось принять участие в этом походе и мне. Может быть, мы и разминулись где-то во Львове… Он создавал свои документальные фильмы об освобождении Украины, а я – о защитниках Ленинграда. А после войны мы были членами одной творческой секции в одном творческом Союзе – Союзе писателей. Чувствую свою вину перед его творчеством – больше я знал и ценил его как автора *довоенных* произведений. Обо всём его творчестве в полном объёме, в том числе и о «Зачарованной Десне» я узнал лишь в середине 60-х годов, когда мой сын Николай стал пристально изучать жизнь и творчество Довженко и советовался со мной как с писателем и ровесником века.

Убеждён, что у нас с Довженко были бы во многом сходные оценки, в том числе и атеистичности трудового народа. Опубликованные в четырёхтомном собрании сочинений Довженко отрывки из его сценария «Гибель богов» ошеломили меня и заставили вспомнить литературные полотна Рабле и Свифта.

Когда я стал учащимся Полтавского реального училища, произошло моё столкновение с законом Божьим как обязательным предметом, а также церковными порядками и наставлениями, пронизывающими школьную жизнь. Я советовался с отцом, и отец убеждённо доказывал мне, что сейчас в России нет другого пути получить образование: «Учи эти сказки, значения им не придавай. Главное, чтобы они тебе учиться другим предметам не мешали…». Но ведь были ещё унизительная исповедь, обязательность посещёния богослужений, вечная и неотступная борьба свободной мысли с церковными догматами. В младших и средних классах я сдерживался, а вот на выпускных экзаменах не удержался – отвечал на вопросы довольно произвольно, хотя и гладко, но хитровато. Принимал экзамены какой-то большой чин церковный, кажется, архиепископ. Он выглядел усталым, опечаленным, слушал рассеянно. Мне поставил *«отлично»* и лишь потом добавил: «И всё же отвечать вам, молодой

человек, следовало по синодальным книгам, а не по роману Мережковского!» Вероятно, он чувствовал, что время грядёт иное, оно надвигается, оно уже за окнами…

На исповедяхя исправно каялся в кражах яблок, в невыученных уроках, в мелких шалостях. Уроков невыученных у меня не было, яблок не крал никогда, а шалить просто не было времени. Но ведь о чём-то надо было говорить! Не о сомнениях же в догматах христианства!

А дальше я расстался с церковью и религией надолго. В Гражданскую войну вспоминал о них только тогда, когда с колоколен поливали нас свинцом белогвардейские пулемёты. Никаких проявлений религиозности у бойцов, товарищей своих, не видел ни в бригаде Котовского, ни в санпоездах. «Мама!» – перед смертью кричали или шептали, женские имена произносили с последней надеждой и тоской, ругались страшно от боли невыносимой предсмертной. Имя божье не слышал, готов поклясться!

После окончания Гражданской войны стал заниматься издательской работой, газетной журналистикой, кинематографом. Специально с церковной тематикой не соприкасался. В 1928 году в Москве познакомился с автором музыки гимна «Интернационал» Пьером Дегейтером, увлекся историей *французского шансона, насквозь атеистической по своему духу*!

Недавно разбирал свои чудом сохранившиеся после блокадных ленинградских зим архивы и нашёл свою корреспонденцию, написанную мною в 1934 году в Донбассе. Это *единственный* мой довоенный материал на атеистическую тему. Цитирую эту корреспонденцию дословно:

Летчики и проповедники

В городе сенсация. Два колхозника прилетели призываться. Прилетели на своём колхозном самолёте! Сами вели машину. Искусно приземлились на аэродроме и пошли на призывной пункт. Как это ни странно и ни чудесно, но первые учлёты вышли из среды вековечных и заядлых пацифистов-меннони-тов. Дело происходило в донецких степях в пятидесяти километрах от райцентра Сталино.

Нелюдимо, замкнуто жило это небольшое племя. Сквозь века оно пронесло отвращение ко всяческому оружию. Вышло это племя давным-давно из Северной Германии. Были меннониты хорошими скотоводами, выращивали высокоудойную немецкую «красную» корову. Жили прочно, богато. Однако король Фридрих потребовал от них рекрутов, и меннониты, легко снявшись с места, перекочевали в Голландию.

Нидерланды тоже вели войны и тоже нуждались в солдатах, но менонитское племя решительно воевать не хотело. На сей раз оно переселилось в Северную Америку, увозя с собою породистых, уже немецко-голландских коров и множество голландских слов, затесавшихся в их немецкую речь.

В Америке меннониты тоже не прижились. Их хотели втянуть в гражданскую войну между Севером и Югом.

Мирную обитель меннониты обрели в России, в которой начали проводить курс на освоение плодородных чернозёмных южных степей. Греков и татар Крыма привлекли на Мариупольщину, малоазийских греков – на Северный Кавказ, а немецких колонистов – в Крым. Меннонитам и их скоту дали пустовавшие земли у Хортицы и на Мелитопольщине. Слышал я, что где-то у запорожского острова чуть ли не до Днепростроевских времён хранился «священный дуб» меннонитского братства. Вот отсюда-то и перекочевала большая часть меннонитов в екатеринославскую степь, и в районе Юзовки образовалось несколько немецко-голландско – американских колоний.

С колонистами был заключён полюбовный договор – воевать их не пошлют, а военную службу им придётся отбывать на охране лесных угодий. И новобранцы-меннониты по нескольку лет охраняли поволжские леса, не прикасаясь к «дьявольскому» оружию.

Пришла революция и к меннонитам. Кулачество частью разбежалось, частью эмигрировало. Оставшиеся пошли в колхозы, из бедняцкой среды выходили сельские активисты, председатели колхозов и сельсоветов. Но кое-что от меннонитских заповедей уцелело до наших дней.

И вот однажды в колонии под названием *Немецкая Михайловка* появился… самолёт. Надо сказать, что колонии как таковой уже к тому времени не существовало – был *колхоз имени Тельмана.* Среди ребят оказалось немало увлечённых техникой. И задумали они купить себе самолёт! Районный аэроклуб пошёл им навстречу: помог построить и оборудовать ангар, приобрести самолёт и планер, прислал специалистов – лётчика-инструктора Соскова и техника Сидорова. Так образовался первый колхозный филиал аэроклуба, и над весенними полями целыми днями стал гудеть самолёт, окончательно привившийся, как и трактор, и комбайн, к сельской обстановке.

Немало упреков выслушали ребята в свой адрес! Аэродром – площадка со скошенной травой – считалась у стариков-меннонитов проклятым местом. Стариков раздражало всё, связанное с авиацией: полотняное «Т» на траве, красный флажок у старта с призывами на немецком языке овладевать техникой, красный крест на повязке дежурной медсестры, тоже молодой колхозницы. Возмущали стариков и военная выправка учлётов, и четкие слова команд:

– Внимание! – Есть внимание!..

«Неужели изменят вере? Неужели пойдут воевать?» – с ужасом думали старики. Ведь ни они, ни их предки и в мыслях такого не имели!

Пошли по селу споры, ссоры, пересуды. Зашевелились проповедники. Заинтересовались «зарубежные братья». В сумке сельского почтальона появилось немало писем с голландскими, немецкими и английскими марками. Прославились молодые меннониты на весь мир! А им всё нипочём!

– Контакт! – Есть контакт! – весело бросал в ответ очередной учлёт, держась за ручку управления и взвиваясь под облака.

«Вернётся или не вернётся? – холодея от ужаса, с тоской думал седоусый папаша, поглядывая в небо и посасывая трубку. – А вдруг совсем улетит?..»

И улетали. Осенью, когда требовательный инструктор увидел, что его «У-2» находится в твёрдых надёжных руках, были разрешены и дальние полёты. Относительно дальние, конечно. И первым маршрутом стал призывной пункт РККА. Десять потомков меннонитов не пожелали расставаться с самолётами и попросились на службу в авиацию. Это были первые люди из племени меннонитов, *сознательно взявшиеся за оружие.* И тогда же последний в колонии проповедник публично сложил своё «оружие».

Корреспонденция эта выдержала несколько изданий. Был ещё расширенный вариант, где более подробно освещалась история меннонитов; был вариант; где больше внимания уделялось технической стороне дела; одна из газет попросила меня сосредоточить внимание на делах организационных; оборонно-массовых. Но базовым; основным стал этот текст.

В Донбассе я главным образом работал для «Известий»; для газеты «Социалистический Донбасс»; для районных газет. Основная тема – тема рабочего класса; ударничества; рабочего мастерства. Корреспонденция о меннонитах стояла несколько особняком. Просто подвернулся случай; я увлёкся; написал…

В том же 1934 году но уже в Ленинграде я встречался с народовольцем академиком Н. А. Морозовым на предмет съёмок фильма о нём для кинолетописи о замечательных людях науки; культуры; искусства. Н. А. Морозов был атеистом до мозга костей. Свои убеждения он подкреплял бесчисленными примерами из разных научных сфер; ибо был энциклопедически образованным человеком; сумевшим во многие науки внести свой вклад, порою

весьма весомый. Был Николай Александрович одержим одной идеей; в которой он меня убедить не смог, несмотря на всё своё красноречие. Он поверял и алгеброй гармонию; и астрономией историю и приходил к выводам; что *раннего средневековья нет вообще* (!); просто произошла ошибка в летоисчислении на несколько веков. Свои идеи он пропагандировал печатно к великому ужасу тех учёных, которые профессионально изучали как раз раннее средневековье. Николай Александрович; посмеиваясь; рассказывал мне, что один историк и одновременно искусствовед; знаток раннего средневековья; просто умолял его прекратить утверждать и пропагандировать свои тезисы: «Что же Вы делаете! Вы просто меня губите! Выходиу я всю жизнь занимался тем, чего нет! Вы учёный разносторонний; универсальный. Обратитесь к другим вопросам; проблемам; темам. А я – однолюб. У меня ничего нет кроме моей специальности. Я её люблю, служу ей!» Завершал свой рассказ Морозов печально; сочувственно; но твёрдо: «Я ему ответил; что в любом случае он жил и работал не зря, но всё; что он изучил – не раннее средневековье; а более позднее время. Все признаки; черты; описания; особенно материальной культуры; сохраняют своё значение…». Но историк был в отчаянье!

Скажу честно: я тоже после этого рассказа испытал подлинное потрясение. Неужели всё было позже; чем мы думали? Чем привыкли думать? И герои «Гамлета» ближе стоят ко времени; в котором жил их автор; их творец – великий Шекспир? Если мы, материалисты; пришли в паническое состояние от гипотезы Морозова; то каково было церковникам; причём представителям многих вероучений и религий? Так называемые «отцы церкви» вообще «провисали» в безвоздушном, внеисторическом пространстве!

К сожалению, продолжить спор с Морозовым я не смог – жизнь сегодняшняя текущая, в которой год решал десятилетия, а месяц – годы, требовала внимания к себе, диктовала свои, порою очень жёсткие условия. Да и новые творческие планы, прежде всего в области кинодраматургии, решительно отвлекли меня (уже в который раз) от религиозной сферы.

«Никто не даст нам избавленья – ни бог, ни царь и не герой» – это был не только девиз нашего времени, но главная строка гимна, музыку к которому писал мой любимый герой французский рабочий шансонье Пьер Дегейтер.

И вот – блокада, срочное задание, ожидание встречи с одним из самых видных и авторитетных деятелей православной церкви – митрополитом Алексием. О чём нам с ним говорить? Как? Где? Возникали десятки вопросов, требующих конкретного разрешения.

В конце концов я твёрдо решил, что наше общение может носить *только общегражданский характер.* Мы оба – граждане великой страны, которая борется со смертельным врагом – немецким фашизмом. В победе над этим врагом – наша общая цель. Верующие, собирающие деньги и драгоценности для постройки танков и самолетов, тоже прежде всего – *граждане нашей страны, русские патриоты.* Эта линия должна быть главной. Всё остальное – фон. *Фильм* этот кроме всего прочего – *государственный, заказывает его государство.* Это тоже очень важная деталь. Она должна стать и аргументом, и компасом.

А иначе и быть не могло! Я тогда так думал и сейчас твердо стою на этом убеждении. Что же было иначе делать? Пускаться в дискуссии, вести беседы о догматах, о символах веры, уточнять какие-то тонкости обрядовые?.. Пытаться переубеждать в главном одного из ведущих церковных деятелей? Ни в коем случае! Он свой жизненный выбор уже сделал. В своё время свой жизненный выбор сделал и я. А сейчас, в блокадном Ленинграде? Верующие молятся за успехи нашей Красной Армии, за скорейший прорыв блокады. Я сам слышал в храмах гневные проповеди в адрес фашистских извергов, во славу нашего оружия. Вот это и надо показать.

Впрочем… Ведь сдавать деньги и драгоценности можно и не через храм, а непосредственно властям. Были и разовые сборы, и пункты приёма пожертвований. Сугубо светские, конечно. Почему же такие значительные средства собрала именно церковь? Вероятно, есть

люди, для которых в самом акте передачи последнего, заветного, потаённого через церковь есть особый смысл. Это действие как бы освящается у верующего, наполняется особым содержанием. Позже я убедился в том, что и процедура приёма денег и драгоценностей в храмах была торжественнее, возвышеннее и, я бы сказал, человечнее. На пунктах приёма как бывало? Принёс? Молодец! Давай сюда. Распишись. Следующий!.. Очередь есть очередь. А кто-то из чиновников мог и неделикатность допустить, и видом своим (а то и словом!) выдать свою реакцию на сумму или характер принесённого. Конвейер, поток, обычная бюрократия. Сцены же приёма пожертвования в храме, которые мы снимали, выглядели трогательно, человечнее, обставлялось *дарение* торжественнее, принимались дары почтительнее, благодарнее. В этом плане наши официальные светские организаторы и распорядители безусловно проигрывали.

Ещё в большей степени мы проигрывали в обрядах ритуальных. Крестин и венчаний мне в блокадном Ленинграде видеть не довелось, а вот что касается отпеваний, то этот обряд в годину военную вызывал особый эмоциональный подъём – и не только у верующих. Почему, наверное, и объяснять не надо: стремительно падала цена человеческой жизни, налёты, артобстрелы, голод, болезни, антисанитария, обилие трупов всюду – на ближнем фронте, на дорогах, на Неве, реках и каналах, в парадных, на лестницах, в квартирах, во дворах, тела, лежащие вповалку на грузовиках, братские могилы, мечта умирающего… быть похороненным и в гробу – всё это либо сводило с ума, либо к этому привыкали, что ещё страшнее.

Разумеется, число отпеваний в блокадные дни было невелико, но они были и сильно контрастировали со всеми повседневными проводами навсегда. Да что греха таить, и на фронте далеко не всегда мы делали всё, чтобы на глазах у оставшихся жить и воевать отдать последний долг только что бывшему среди нас товарищу. Редко звучали и прощальные залпы – берегли боеприпасы, а уж место захоронения *очень редко* прочно отмечалось и зримо, и в памяти людской.

Я думаю, что мало кто всерьёз верил в мир загробный, мало кто понимал смысл и характер молитвенных слов, однако, уцелевшая красота и парадная торжественность в церквах и соборах чистота и опрятность обстановки сильно контрастировала с блокадным бытом. И в этом тоже была одна из причин определенного подъёма церкви в годы войны в целом и блокады в частности.

В эти страшные времена возросла неизвестность, непредсказуемость не только завтрашнего дня, но и будущей минуты – шальная пуля на фронте, шальной снаряд, неожиданно прорвавшийся бомбардировщик с метким лётчиком… Психологи и врачи говорят, что даже здоровый человек тяжело переносит замкнутое пространство, особенно долгое время. А неизвестность, помноженная на замкнутое пространство и дополненная изнурительным голодом и повсеместным горем, была особенно мучительной. Неизвестность в отношении себя. А в отношении близких, родных, друзей?.. Кто-то из них погибал рядом с тобой, у тебя на глазах, и это умирание мгновенное или тягостно долгое, как пытка, было всё же известностью. А какие картины дантова ада рисовались человеку, у которого родные оказались в фашистском плену, в концлагере, в окружении, беженцами на фронтовых дорогах да ещё с детьми малыми?.. Страшно даже представить себе!

Опять же, не поверю ни за что, будто каждый пришедший в церковь в ту пору надеялся на какое-то посредничество, мистическое заступничество, верил в то, что его просьба будет в каких-то небесных инстанциях услышана, и родной человек будет *тем самым спасён.*

Однако готов поверить в то, что в экстремальных условиях человек, имевший определённую психическую предрасположенность к вере в сверхъестественное, имевший в детстве определенное целенаправленное воспитание, может стать убеждённым верующим.

Однажды меня познакомили с молодым ленинградским прозаиком, который советовался со мной, можно ли один из его рассказов инсценировать. И драматургическое решение, и фактура меня потрясла. Прежде всего своей логичностью и документальностью. О чём шла речь в рассказе, который мог бы стать основой и для спектакля, и для кинофильма?

В одном из ленинградских пригородов (у меня были и точные адреса, и даже фамилии, но я не хочу сейчас их называть) в день 9 Мая к братской могиле защитников и освободителей родной земли депутация райцентра возлагала цветы, был митинг. Среди приглашённых оказался и местный священник, в прошлом офицер-фронтовик, командир небольшого партизанского отряда, награждённый боевыми орденами (какими, сейчас не помню, но явно не полководческими – масштаб не тот!). Его районные власти тоже решили пригласить – в облачении, с крестом. Пусть все знают, что в их районе никаких гонений на церковь нет. Правда, о боевых орденах его решили не говорить, но во вступительной речи упоминалось, что наш-де батюшка – участник Великой Отечественной войны, офицер, патриот, что и воевал он недалеко отсюда – вон в тех лесах…

На празднование Дня Победы (а дата была видная, кажется, чуть ли ни XX-летие Победы!) приехали и бывшие земляки, и те, кто райцентр в годы войны освобождал. Священник (назовем его отец Игнатий) был очень грустен, даже удручён, стоял в сторонке. К нему какой-то однорукий ветеран обратился. Отошли они от митинга. Однорукий прикурил (ловко у него это получилось!) и стал что-то с жаром отцу Игнатию рассказывать. Тот слушал, слушал, высоко вскинул голову, словно по фронтовой привычке на небо посмотрел. И даже руками развёл… После этого разговора выступать он отказался, на нездоровье сославшись, подвёз его на своём «жигулёнке» какой-то знакомый до церкви. Атам несколько старушек молились, дверь была открыта. Ворвался в церковь отец Игнатий, даже не перекрестился, прошёл за алтарь, снял там облачение и вышел уже без него навсегда за порог дома божьего. Говорят, уехал он, а куда, никто не знает.

А однорукий ветеран ещё не раз в райцентр наведывался – родственники у него там были. Спросили его однажды: «Что ты такое нашему батюшке наговорил, что он сан с себя снял и уехал от нас на все четыре стороны?» И поведал ветеран такую историю.

Взвод, которым командовал молодой офицер, недавний выпускник пехотного училища, попал в окружение. Окружение всегда беда и всегда в какой-то мене неожиданность, но здесь в данном месте и в то время оно было как гром среди ясного неба! Бойцы остались без еды, без воды, многие были ранены. Взвод редел на глазах, и в какой-то миг командиру почудилось, что гибель всех и его в частности близка как никогда. И тогда ему, сельскому парню, выросшему в религиозной семье и даже молившемуся вместе с родителями в дошкольную пору, припомнились давние молитвы. Сперва умерла особенно религиозная мать, потом отец, и воспитывала его уже тётка, бесконечно далёкая по взглядам от своей старшей сестры. На молитву у командира осталась последняя надежда. Так ему показалось, так он для себя решил. И дал себе зарок: если выведет бойцов из окружения из этого чёртового болота, окаймлённого лесом, поступит в семинарию и станет священнослужителем. Молился он неустанно всю ночь, но не на виду у бойцов, конечно. А те решили, что их «Чапай думу думает»[17]*. Наутро дозорные сообщили, что каратели блокаду сняли. Открывался путь к своим. Командир так уверовал в божью помощь, что после войны выполнил свою клятву. А воевал он отлично! Некоторое время командовал партизанским отрядом вблизи от родных мест, потом, после окончательного снятия блокады Ленинграда, воевал на других фронтах, Берлин брал… Приход получил в родных краях. Был на хорошем счету у начальства церковного и у прихожан. И вдруг такой случай! Оказалось, что не дошли заветные во спасение молитвы до «адресата», просто-напросто отвлёк внимание карателей более

[17] Классическая фраза из фильма «Чапаев».

важный для них в ту пору, чем изможденные остатки взвода, соседний партизанский отряд, в котором и воевал однорукий ветеран.

Были они с отцом Игнатием и раньше знакомы, не раз вспоминали фронт. А тут как раз у однорукого дружок по партизанскому отряду нашёлся, один из немногих, кто в живых остался. Вот и поделился новостью тут же, на митинге однорукий со своим знакомцем. Слово за слово, и, словно гром среди ясного неба, пришла весть о том, как же обстояли дела в действительности. Раньше всё как-то вокруг да около в беседах они к тем трагическим начальным дням военным подступали.

Удивительной драматургической силы материал! Пьесу молодой прозаик пробовать написать не отважился – говорил, что тогда многие заветные авторские мысли и наблюдения не найдут себе места, а всё перевести в диалог, всё подчинить драматургическим, сценическим законам не мог, не по силам было! Да и я, выслушав его, подумал, что *рассказ,* вероятно, в данном случае наиболее органичный жанр будет. Повесть потребовала бы слишком большого материала, а тут хороша именно недосказанность, случай обыграть лучше всего *именно в рассказе.* Не знаю, завершил ли своё произведение молодой прозаик, но я часто вспоминал беседу с ним, немало думал над судьбой отца Игнатия. В связи с ним вспоминал и свою давнюю корреспонденцию о лётчиках-меннонитах. Там конфликт, казалось бы, иной просматривался – православная церковь пацифистской не была, от рати воинов не отстраняла, напротив, на бои во славу Отчизны их благословляла не раз. Не представляю себе, чтобы старики-меннониты свои последние сбережения, а чаще всего последние вещи – вплоть до обручальных колец и серёжек, в девичестве ещё подаренных, – для покупки оружия предназначали.

А что я видел в Никольском соборе, где мы вели съёмки? На блюдо ложились и колечки, и ложки, и малюсенькие ложечки, может быть, единственное напоминание о родителях, о дедушках да бабушках, брошечка-заколка, запонки золотые, бусы, кулоны, стопочки серебряные, попадались и очень дорогие вещи – явно с дореволюционной поры хранившиеся у потомков купечества и дворянства.

Что самое удивительное (это я подчеркиваю как блокадник!), так это то, что люди, осуществляя этот акт дарения, *подвергали себя смертельному риску.* Не удивляйтесь, но это так. Во-первых, они отдавали безвозмездно свой НЗ, *неприкосновенный* и, чаще всего *последний запас*, который мог в самый критический момент продлить жизнь. Тут как на фронте. Последний снаряд помогает продержаться до прихода своих, до помощи братской. Последний кусочек хлеба (а тем более – буханка!) могли позволить продержаться какое-то время семье, не то, что одному человеку. А тут, скажем, норму прибавили, теплее на улице стало, легче стало в очереди выстоять. Во-вторых, эти пожертвователи очень рисковали по пути следования в Никольский собор – уголовные элементы знали о сборе верующими средств и случались на них нападения. В-третьих, они подвергались нажиму со стороны родных, знакомых, товарищей по работе, если те узнавали, *как* они распорядились с последними ценностями. Если уж вы такие бессеребрянники и такие сытые (а обмен порою шёл так, что за рояль в самые трудные месяцы на вес шла всего лишь буханка хлеба!), то отдали бы в фонд обороны гражданской, а то зачем же попам отдавать! А те жиреть на ваших подношениях будут! Такие мысли высказывались довольно часто.

Священники в годы блокады, насколько мне известно, голодали не меньше, чем все остальные. А вот искушение у них было. По договоренности с высшим руководством (мне было так сказано, но я понял, что речь шла непосредственно о Жданове) даже в самые тяжёлые месяцы блокады церквам ленинградским выдавалось некоторое количество муки и вина для причащения.

Я, конечно, был бесконечно далёк от всех этих внутрицерковных проблем и никогда не узнал бы о них, если бы не этот заказной фильм и не моё знакомство с митрополитом Алексием. Он и посвятил меня во многие заботы свои *во время трёх наших встреч.*

Не скрою, что при первой встрече я волновался. И дело не только в том, что материал для меня был новый, неожиданный. В конце концов, когда-то я ничего и о металлургии не знал, и о снайперском движении, и об особенностях природы Дальнего Востока. Всё это постигалось сходу, по ходу работы над фильмами. Я не был готов к этой встрече *психологически*! Вот что самое главное и трудное. И во многом внутренне ей противился, хотя понимал, что она необходима.

Уже первые минуты беседы с митрополитом Алексием развеяли мои опасения и сомнения. Он расположил меня к себе *сразу.* Могу со всей ответственностью сказать, что он был человеком мудрым, тонким, деликатным, очень образованным, *светским* в самом лучшем смысле этого слова. Ая, честно говоря, больше всего боялся встретить сурового монаха, диктатора, отшельника, даже фанатика. Ничего подобного!

Прежде всего, митрополит Алексий, выйдя к нам (а явился я сразу с оператором и администратором), осведомился, сыты ли мы, предложил нам чаю с хлебом и двумя кусочками колотого сахара для каждого. По тем временам – божественный пир! Он и сам в нашей трапезе принял участие. Был непринуждён, внимателен к каждому. Что особенно меня поразило, проявил отличную осведомлённость с первых же слов о положении на фронте, в блокадном городе, знали о деятельности нашей Объединенной киностудии, правда, – в самых общих чертах.

Жил он тут же, в Никольском соборе, занимая наверху одну из комнат. Но в первую нашу встречу я чести посетить сию келью удостоен не был. Он нас принял в другом помещении на втором этаже. Тут же, при нас он пригласил старосту, представил его нам, потом рассказал ему коротенько о замысле фильма, о его целях, задачах, о крайне сжатых производственных сроках. Все это говорилось обстоятельно, абсолютно *современным русским языком безо всякой архаики*, и это я, как литератор, отметил для себя сразу. Более всего митрополит волновался, хватит ли электрического освещёния для съёмок. Оператор не стал вдаваться в технические тонкости, но в целом сказал, что света очень мало, может ничего не получиться. В любом случае *надо дать полный свет* \ Свечи должны быть не только в кадре, но и освещать, выполнять функциональную роль. Староста вместе с оператором и администратором отправились смотреть электрооборудование собора. *Я в* эти технические дела решил не вдаваться и воспользовался временем для того, чтобы послушать митрополита.

В этот первый раз, в эту первую встречу мы говорили *только о самых общих заботах, тревогах и нуждах.* Прислушивались к звукам, доносившимся с неба, – не мистическим, а самым что ни на есть реальным – фашисты бомбили остервенело! И тут я впервые для себя сделал открытие – оказывается, митрополит *сведущ в военных вопросах*! Во время войны даже очень далекие от военного дела волей-неволей в чём-то стали разбираться. Я как журналист, киносценарист, лектор не раз слышал от казалось бы совсем неискушенных в военном деле людей и термины, и упоминание о тактико-технических данных. Кое-кто научился читать карту, многие горожане дома имели карты (не секретные, конечно, а чаще всего те, что ещё со школьных лет остались, учебные) и отмечали на них обстановку на фронтах. Но всё равно, профессионал есть профессионал. В словах же митрополита звучали *нотки профессионализма.* Он свободно владел военной терминологией, проводил параллели, сопоставления, упомянул о роли авиации в Первой мировой войне, знал даже калибры. А я, грешный, в этом, например, силён никогда не был. Меня как военного журналиста больше всего интересовал *человек на войне*, его психология. Меня эти военные познания митрополита так поразили, что я долго не мог дать им объяснения.

Но не менее хорошо митрополит разбирался и в политике. Более того, говоря о проблемах Второго фронта (чувствовалось, что он большие надежды на него возлагает, чтобы хоть немного оттянуть вражеские силы от нашей страны), он судил о политиках Запада не как читатель, сторонний наблюдатель, а как светский человек, живо представляющий себе зримо и конкретно тех или иных политических деятелей, имена которых были тогда, как говорится, на слуху. Это было моё второе удивление!

Свои удивления я старался скрыть, вида не показывал. Третье, что меня поразило, – митрополит не строил из себя начальственного оракула, эдакого небожителя, взирающего с горней высоты на происходящее. Он подошёл ко мне как гражданин к гражданину, горожанин к горожанину, патриот к патриоту. Ни разу не спросил он меня, верующий ли я, православный ли я вообще, христианин ли я даже, есть ли у меня некое представление о делах церковных, искушен ли я вообще в предмете своего изучения. А тут мне крайне важно было перейти от общего к частному. Предложить ему стать *научным консультантом я* не мог бы ни при каких обстоятельствах! Это же не фильм об истории архитектуры или технологии той или иной отрасли промышленности!

Наконец я избрал такую форму просьбы – нам, мол, без Вашего *совета и помощи* не обойтись, предмет нашего фильма таков, что лишь совместные усилия и труды пойдут на благо нашего общего дела. Несколько витиевато, но правильно по существу.

Слово *«научный» я* даже не упомянул, а слово *«консультант»* оставил. Однако как теперь провести мысль о том, что в фильме нежелательны акценты на вероисповедности? *Главное – патриотизм верующих ленинградцев.* Каково же было мое изумление, когда митрополит *сам* поднял этот вопрос! Он сказал, что сценарий и дикторский текст должны носить *гражданский характер.* Фильм будут смотреть не только православные, не только христиане, но самые разные зрители, в том числе и за рубежом. Все равно в коротком фильме сущности православия мы не успеем раскрыть, он посвящён *лишь одной* миссии церкви. На ней и надо сосредоточить внимание. Я поблагодарил митрополита за понимание природы предложенного нами жанра кинодокументалистики и выразил надежду, что он окажет содействие съёмочной группе картины на всех производственных этапах. В итоге мы решили не откладывать дела в долгий ящик. Беседа наша первая была утром, а к полудню должен был начаться очередной сбор средств от верующих.

Вернувшиеся оператор с администратором выразили удовлетворение предстоящими условиями съёмки. Они тоже волновались – и спецзаказом, и необычностью материала и характера фильма. Однако как подлинно творческие люди (а в военные и довоенные годы и администраторы таковыми являлись!) они уже загорелись: живо обсуждали детали, делились впечатлениями о невиданной для них прежде обстановке. К сожалению, делали они это слишком явно, шумно и не очень-то деликатно! Я постарался их срочно по возможности утихомирить. Митрополит, глядя на них, улыбнулся краешками губ, но неудовольствия не выразил— он понял их состояние. Вообще, *способность понимать другого человека, по-моему, была заложена в этом человеке, была для него органична.* Обладал он несомненно и даром предвидения. Не берусь сказать – о каких-то далеких сроках и прогнозах в отношении грядущего, но в делах конкретных он оказывался безусловно прав. Прежде всего, он посоветовал не упускать шанс – пока есть свет, нет воздушной тревоги, пока много прихожан, снять всё, что можно, *сейчас.* Он даже пошутил, что, мол, кинематографисты, я слышал, слишком долго седлают коней, перед тем как отправиться в путь… И я опять подумал о том, что в юности этому человеку, вероятно, приходилось, как и мне, сидеть на боевом коне.

Плёнка у нас собою была, правда, немного. Мы срочно послали администратора за «подкреплением» и людским, и материально-техническим, а сами приступили к работе.

Главная для нас проблема – реакция верующих и просто случайных людей в соборе на наше присутствие. Скрытой камерой мы снимать не могли. К тому же, этот приём в чистом

виде относится к кинодокументалистике уже 60-х годов. Тогда могла речь быть о том, чтобы оператор-документалист остался незамеченным или же человек настолько был чем-то увлечён, что, зная о присутствии оператора, тут же забывал о нём.

И тут нас буквально спас сам митрополит! *Он обратился ко всем присутствующим.* Его голос, в частной беседе довольно тихий, прозвучал в сводах храма ораторски. Он сказал о войне, которая вторглась на нашу землю, вплотную подступила к нашему городу, поблагодарил за помощь фронту и просил собравшихся вести себя так, как всегда – фильм нужен Родине, пусть люди работают. Им в таких условиях работать трудно, непривычно, им нужно помочь. Среди собравшихся в соборе нашлись у нас и неожиданные добровольные помощники. Когда со студии прибыло «подкрепление» (второй оператор, два ассистента, два осветителя), работы прибавилось, потребовалась помощь. Прежде всего, нам пришлось постоянно менять точки съёмки и по возможности – ракурсы. Несколько моментов дарения, преподношения мы даже, набравшись смелости, попросили повторить – слишком они были выразительны, а на экране смотрелись бы плохо. Наши участники съёмок безропотно соглашались и вновь возвращались в свою очередь и даже замирали на мгновение перед аппаратом. Особенно нас волновали крупный и сверх-крупный планы. Решать весь фильм на планах средних было нельзя. Широкоугольных объективов у нас не было в ту пору. Общий план, панорама получались плохо. Возникала монотонность… Требовались контрастные перебивки. Вы скажете, что всё это режиссёрское дело, а не сценарное. И да, и нет, но я и не был сценаристом в чистом, так сказать, виде. Мне было с самого начала сказано, что моя задача – организация съёмок и фильма в целом.

Снимали мы, конечно, с запасом, операторы постоянно работали с диафрагмой – этот свет для них был принципиально новым, он и падал и распространялся совсем не так, как в других помещёниях, где им, хроникёрам, приходилось раньше работать, – в цехах, в клубах, в конференц-залах и т. д. Они снимали бесконечные митинги, собрания, заседания, пролёты цехов и ферм. Встречались и красивые интерьеры, и стройные радующие глаз колонны, но здесь после тревожного мрака блокадных помещёний всё казалось сказочным, таинственно-праздничным, и это чувство передалось всем нам.

Так кто же проходил перед нами, перед нашими объективами в тот небывалый съёмочный день?

В основном всё же старики и старухи, встречались мужчины-инвалиды средних лет, увечные солдаты (они явно уже были демобилизованы), женщины средних лет. Именно они оставили самое горестное впечатление – я почему-то думаю, что всех их в собор привели утраты, утраты *невозвратимые.* Было несколько детей, но эти дети не сами пришли, а привели своих бабушек… Все они приходили внести свою лепту в будущие самолёты и танки. Службы (во всяком случае, при нас) не было. Некоторые прихожане молились в сторонке. Собор большой – места хватало всем пришедшим. Редко кто сразу уходил: медленно ходили по собору, как по музейному залу, подходили к иконам, всматривались в них, шёпотом спрашивали что-то друг у друга… Чувствовалось, что многие ничего не знают о церковном убранстве и утвари и имеют лишь самое общее представление о назначении тех или иных предметов. Были и истово молящиеся, не видевшие и не слышавшие вокруг себя ничего. Невольным свидетелем такого откровения мне довелось стать, когда я продолжал искать всё новые и новые точки для съёмок. Шёл, шёл и замер… Молилась старуха о внуке своём, танкисте Волховского фронта… Как-никак, я всё-таки курс закона божьего в реальном училище прослушал. Посему могу со всей определенностью сказать, что молитвенных текстов старуха не знала. Её молитва была вольным текстом сугубо светского содержания. Она шептала о том, какой славный и умненький был у неё внучок, как хотел учиться в Политехническом институте, как тяжело она прощалась с ним, как погибли все родные и близкие, как тяжело

ей одной его ждать, а вестей с фронта никаких нет… Вообще по сути своей это не молитва даже и была, а *людское откровение.*

... Драгоценности и деньги всё стекались и стекались, всё высились и высились… Будь средь нас искусствовед, знаток ювелирного искусства, он бы наверняка сделал для себя немало открытий. Он бы живо представил себе, где и как была создана та или иная вещь, как она пришла в город на Неве, мысленно проследил бы за ней от момента приобретения до вот этого мгновения, которое мы фиксируем своими киноаппаратами. Впрочем, для этого уже нужен дар чисто литературный. И вдруг я со всей остротой ощутил неотступное желание вернуться к чисто художественным жанрам! Да куда там! Текучка взяла меня в свою блокаду…

Митрополит во время съёмок несколько раз отлучался, возвращался к нам, спрашивал, не нужна ли ещё какая-нибудь помощь, ещё какое-нибудь содействие. В конце он спросил, достаточно ли будет материала, выразил пожелание снять собор снаружи, показать на экране вход в храм…

Мы сердечно поблагодарили митрополита и поспешили на студию: нас больше всего волновало то, что извечно волнует любого кинематографиста после съёмок: *как получилось*?

Получилось в целом неплохо, какие-то кадры были просто открытием, но многое и не удалось по чисто техническим причинам. Мы сделали некоторые досъёмки на улицах, последовали совету митрополита и сняли собор и вход в него. Теперь я должен был садиться за написание сценарного плана и дикторского текста. На это ушло несколько дней. За это время начерно мы смонтировали материал и посмотрели его в просмотровом зале. Теперь надо было вновь обращаться к митрополиту, и я повёз ему дикторский текст и сценарный план.

Человек, хорошо знающий Ленинград, может себе живо представить, что студия от собора недалеко: студия – на Крюковом канале, собор почти рядом. Транспорта у нас не было. У митрополита был личный транспорт – лошадка и возок. Это мне хорошо запомнилось, ибо я давно в блокадном Ленинграде *живых* лошадей не видывал!

И вот я в его покоях на втором этаже Никольского собора. *Это наша вторая встреча.* Она более обстоятельная, неторопливая. Мы уже знаем друг друга и, могу сказать об этом со всей уверенностью, *расположены друг к другу.* Но как митрополит отнесётся к моему варианту дикторского текста?

Дикторский текст у меня вышел коротким. Я считал и сейчас считаю, что в документально-публицистической ленте он должен быть минимальным. Другое дело – научно-популярное кино, специальная тема. Тут без пояснений никакие обойтись.

Что же касается самого сценарного плана, то и тут переусложнять задачу не следовало. Люди верят в Красную Армию, верят в победу, они помогают посильно своему городу, району, дому, соседу по квартире, по лестничной площадке, но они хотят помочь и стране в целом. А как это можно сделать? Многие нетрудоспособны, немощны, голод и так изнурил их. Но их средства могут влиться в сумму, достаточную для изготовления большой и грозной боевой машины, которая (как знать!) может дойти и до Берлина в будущем. И в ней, в этой бронемашине, или в этом самолете будет и доля того, что принадлежало тебе, *рядовой ленинградец]* Как вы видите, ничего собственно церковного, религиозного нет. Однако организатором сбора средств выступила Русская православная церковь, средства собирались в храмах. Вот об этом и говорилось в дикторском тексте.

Сейчас, спустя многие годы, думая об этом фильме, я вспоминаю лица, глаза и руки. Это незабываемое волнующее зрелище! Боюсь, что за исключением детей, сопровождавших своих бабушек, никого уже в живых не осталось. Но до Победы многие из них дожили. В это мне очень хочется верить!

… И вот я в личных покоях митрополита. Не знаю, как живут сейчас высшие церковные чины, но митрополит Алексий жил скромно, аскетично, но по-своему уютно. На келью отшельника виденная мною комната похожа не была. Разумеется, иконы, религиозная литература, но на рабочем столе митрополита я увидел тома из второго издания собрания сочинений В. И. Ленина и первого издания собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. Это не был парад книг – чувствовалось, что ними работали, отбирались специальные тома, другие же стояли на полках. В некоторых из них я успел заметить бумажные закладки.

Митрополит учтиво пригласил меня сесть, угостил, как и в прошлый раз, крепким чаем с хлебом и сахаром. Сам принял участие в чаепитии. Начали мы с обстановки на фронте нашем, на других фронтах. *Иначе и быть не могло – этим жил каждый из нас*\ Особых перемен за истекшее время мы не заметили. Митрополит осторожно, словно боясь огорчить меня вопросом (вдруг результаты проявки плёнки оказались печальными!), поинтересовался, как в условиях блокады работает студия – при постоянной нехватке электроэнергии, материалов, химикалей и т. д. Я по мере своих знаний и осведомлённости постарался ответить и в свою очередь очень осторожно полюбопытствовал, велико ли делопроизводство в его ведении, немало ли оно отвлекает от более важных забот и деяний.

В ответ я услышал, что канцелярия невелика, что она находится тут же, в Никольском соборе, что то, что в миру называется *организационной работой*, тоже важное дело и пренебрегать им ни на каком посту не следует, ибо это, в конечном счёте, *связь между людьми.* Меня буквально потряс рассказ митрополита о том, что верующие собирают средства на танковую колонну и эскадрилью даже *за линией фронта, на оккупированной врагом территории* и переправляют эти средства сюда, к нему как к митрополиту. «Потом всё собранное мы передадим руководству города для переправки на Большую землю, – сказал митрополит, – но я хочу верить, что наш фильм опередит эту отправку». С тем и приступил к чтению принесённых мною машинописных текстов. Читал спокойно, вдумчиво, никак не выражая своего отношения к прочитанному. А уж мне-то на своём веку немало пришлось повидать, как горячились консультанты, как язвили над каждой строкой коллеги, как метали грома и молнии худруки разных рангов. Один лишь человек меня потряс своей доброжелательной выдержкой и с трудом скрываемыми увлечённостью и азартом – подлинный художественный руководитель «Ленфильма» Андриан Пиотровский.

Закончив чтение, митрополит с лёгким поклоном возвратил мне рукопись и сказал, что, по его мнению, другого варианта текста и сценарного плана искать не надо и вдруг предложил на всякий случай предусмотреть и надписи на экране *чисто текстовые* – вдруг фильм могут смотреть люди, которым пояснительные надписи будет легче воспринимать в силу тех или иных причин, к тому же так легче будет и возможным переводчикам на другие языки.

И я вновь поразился *удивительной способности митрополита говорить многое и о многом, сказав очень мало.*

Мы условились, что я непременно приглашу его на просмотр, когда всё будет готово. На том мы и расстались.

Работа над фильмом шла боевыми темпами, и вскоре всё в основном было готово. И я сам отправился в Никольский собор пригласить на просмотр нашего консультанта и советчика. Разговор был очень коротким, и я его в свой актив даже не вношу. Посему дальше буду говорить *о третьей*, а не о четвертой нашей беседе.

На киностудиях всегда вечная неразбериха, а в военных условиях и того пуще! То зала нам не давали сразу, то механик куда-то подевался. Пришлось подождать. Я неловко пошутил о кинохаосе и попросил запастись терпением. Прошли в зал. Вдруг оказывается, какие-то нелады с проекционным аппаратом. Возникла пауза. Чтобы её уместно заполнить, я стал рассказывать о работе кинематографистов во фронтовых условиях, потом зашла речь о бло-

кадном репертуаре, вспомнил я и довоенные фильмы, в том числе – и художественные, отметив при этом военно-историческую тему.

Митрополит очень оживился, когда я стал ему рассказывать о том, что мы собрали небольшой фонд таких фильмов, в том числе в этот фонд вошли *«Александр Невский», «Богдан Хмельницкий»* и *«Минин и Пожарский».* Я спросил, удалось ли митрополиту посмотреть эти ленты в довоенные годы. Митрополит посетовал, что ему, как духовному лицу, неудобно посещать кинотеатры, а иной возможности познакомиться с этими фильмами у него нет. Я-то по наивности думал, что у церковного руководства и кинозал есть! Ничего подобного в ту пору не имелось, оказывается.

И тут я на свой трах и риск, извинившись за отлучку, рванулся к студийному начальству – так, мол, и так, говорю, надо митрополиту фильмы о воинстве русском показать. Что у нас есть? Сейчас? Оказалось – *«Александр Невский»* и *«Богдан Хмельницкий».* Копии в хорошем состоянии, показать их можно. Я обратно в просмотровый зал. Митрополит Алексий терпеливо меня дожидается. Предлагаю ему программу – после просмотра нашего фильма (я так и сказал – НАШЕГО) можем предложить на выбор *«Александра Невского*» или «*Богдана Хмельницкого».* Митрополит улыбнулся и как-то очень добросердечно и учтиво попросил: «А можно не *или*, а и? И то, и другое. И нет ли у у вас “*Минина и Пожарского*”? Я лишь читал об этом фильме. К тому же он, хотя и о другом времени, но прямо о том, о чем и *наш* фильм». И он так и сказал: «НАШ». Я ответил, что в принципе можно – зал за нами до позднего вечера закреплен, но копия фильма *«Минин и Пожарский»* не очень хорошего качества. «Это не беда, – ответил митрополит. – Основное понять и почувствовать можно!» На моё предостережение, что это всё подряд очень утомительно, он ответил, что это его не страшит, а другой возможности может больше не представиться. Я дал команду киномеханику: *«Мотор!»,* а сам ринулся организовывать для митрополита копии заинтересовавших его кинолент, а также какой-то, пусть самый скромный стол.

Наш фильм митрополит принял благосклонно, подтвердил свои прежние оценки сценарного плана и дикторского текста, особенно отметил качество и эмоциональную выразительность съёмок, добавив при этом, что впервые убедился в том, что документальное кино может волновать как художественное произведение. Я в свою очередь от имени руководства студии и коллег кинематографистов сердечно поблагодарил митрополита за понимание, помощь и добрые советы. Мы вместе просмотрели «Александра Невского», сделали перерыв и втроём вместе с киномехаником разделили скромную трапезу с чаепитием. Киномеханик поначалу робел, чувствовал себя неловко рядом с таким духовным лицом в облачении, а потом довольно быстро освоился и стал внимательно слушать нашу беседу.

А беседа была о русской истории. Я историческую тему очень любил и сейчас люблю – почти все мои произведения носят исторический характер. Немало читал и как читатель, и как редактор, и как автор, подбирающий материал. Историю (особенно историю искусств) как студент и слушатель с особым удовольствием изучал. Митрополит оказался очень искушенным в области истории человеком, эрудированным, мыслящим. Он знал множество фактов, умело их подавал, прекрасно вёл беседу, был демократичен и деликатен по отношению к собеседникам, слушателям. Киномеханик, видавший виды в просмотровых залах (слышимость-то неплохая!), бывший свидетелем чаще разносов и скандалов, чем неспешных бесед и поздравлений, потом сказал мне, что он просто очарован неожиданной беседой. Сам он человек в летах, неверующий, думал, что кроме молитв и цитат канонических ничего не услышит, а он вообще ничего несветского не слышал, будто беседовал с профессором вуза или музейным работником, или же литератором…

Отдохнув, мы ещё посмотрели два фильма и оба проводили митрополита до выхода, где его ждал возок. Я чуть было не забыл сказать, что, узнав о возможности просмотра художественных лент, митрополит попросил меня спуститься вниз и отпустить возницу, назвав

ему примерное время окончания просмотра. Это тоже яркая черта в характере митрополита, и я её не могу не отметить.

… Прощались мы навсегда, а так, как будто – до следующей светской встречи. Больше никогда не виделись. Вскоре он стал патриархом и долгие годы возглавлял Русскую православную церковь. Для таких людей, как он, время идёт медленно, и живут они долго…

Я стал москвичом, изредка слышал упоминание о *патриархе* Алексии, видел его несколько раз на телеэкране. Очень он постарел. Ведь он и тогда в блокаду казался далеко не молодым человеком. Потом он умер, и я прочитал об этом. Прочитал и решился начать этот мемуарный очерк о том, как я, убеждённый атеист, встречался с будущим патриархом в осаждённом Ленинграде, как мы делали наш фильм, как беседовали… А беседовали мы как два патриота, два гражданина, мечтавших о Победе и гордых прошлым нашей сражающейся Родины.

Наш фильм увезли в Москву, говорят, – на самолёте. С тех пор я его не видел. Писатели порою сетуют – вот подарил бы свою книгу, да не могу: все экземпляры разошлись. А что от фильма остаётся! Тем более заказного?.. Да ещё такого, как этот!..

Слышал я, будто в Москве наш фильм доснимали, включали в него кадры отправки на фронт зимой из-под подмосковной Коломны танковой колонны имени Дмитрия Донского на фронт. Говорят, что какие-то кадры цитировались в фильмах о войне, но не те, что мы в Никольском соборе снимали. А как теперь проверишь, если авторства в полном смысле слова у меня в этот раз не было.

А потом я узнал, что патриарх Алексий *причислен к лику святых.* Выходит, я должен буду волей-неволей *житие святого* писать! Но это уже *не мой жанр* \ И я отложил уже начатый очерк в сторону. А вот теперь вернулся к нему вновь. Толчком к принятию этого решения послужил один дорожный короткий разговор.

Как-то в конце лета, когда уже дождило и осенний холод созвучен был с душевным моим состоянием, возвращался я в Москву из своего любимого Абрамцева, где жил летом. А это – по направлению к Загорску. Подсел ко мне какой-то иерей в облачении, завёл разговор о том о сём, о возрасте моём преклонном, в котором пора о божественном подумать. Я вспылил! Меня возмутила и бесцеремонность сего «ловца душ», и его невежество, которое особенно проявилось в ходе нашей короткой беседы. И я ему рассказал о бывшем патриархе, о его уме, знаниях, благородстве и деликатности. Мой невольный собеседник был поражён моей осведомлённостью в делах церковных и в тонкостях вероучения – всё-таки учили нас в реальном училище «намертво», на всю жизнь! Не скажу, что я в споре его победил, скорее, у нас ничья вышла. Он был таким агрессивным, непоследовательным, недалёким, что с ним даже спорить было не интересно. А про патриарха Алексия он вовсе непочтительно и как-то по-холопьи выразился: «Что сейчас покойника вспоминать! Теперь над нами новый патриарх – *Пимен*\ За его здравие и молимся!» Ну, прямо как в редакции журнала или в театре, или на киностудии – знакомые интонации, только должности по-иному называются!

Хорошо, что электричка была скорая, не всюду останавливалась, и за окном мелькнули знакомые перроны Ярославского вокзала.

Вернувшись домой, я достал из дальнего ящика письменного стола начатый очерк, перечитал его и вставил в пишущую машинку, которую мне подарило командование Первого Белорусского фронта за освещение Берлинской операции, чистый лист и набросал первые строки этого очерка.

1970–1978

Краткое пояснение о дополнение к очерку отца

Вы, уважаемые читатели, наверное обратили внимание на то, что митрополит Алексий разбирался в военном деле как профессионал. Разбирая отцовский архив, я нашёл одну неполную машинописную страничку – своеобразное дополнение к этому очерку. Вероятно, отец не успел её вставить в основной текст. Так вот, смысл этой вставки таков: митрополит в беседе с отцом обронил фразу «Третью жизнь живу: был студентом, изучал юридические науки, затем написал исследование “Комбатанты и некомбатанты в ходе боевых действий”, одно время служил в полку, где научился и верховой езде, и стрельбе, и многим другим военным премудростям, но в итоге всё же избрал путь богословский, по второму иду и поныне».

Так вот откуда у Симанского такие воинские познания! Важнейший комментарий для неспециалистов, которых подавляющее большинство. Комбатанты – это непосредственные участники боевых действий, некомбатанты – это, упрощённо говоря, мирное население, можно даже сказать, обыватели. Молодой юрист Симанский анализировал различные ситуации и определял правовое и отчасти административное положение некомбатантов. Всё это очень важные и крайне болезненные вопросы в военном XX веке.

Н.А. Сотников. Церковь зовёт к защите Родины

Обращение к верующим

… Война есть страшное и гибельное дело для того, кто предпринимает её без нужды, без правды, с жаждою грабительства и порабощения; на нём лежит позор и проклятие неба за кровь и за бедствия своих и чужих.

Но война – священное дело для тех, кто предпринимает её по необходимости, в защиту правды, Отечества. Берущие оружие в таком случае совершают подвиг правды и, приемля раны и страдания и полагая жизнь свою за однокровных своих, за Родину, идут вслед мучеников к нетленному и вечному венцу. Потому-то Церковь и благословляет эти подвиги и всё, что творит каждый русский человек для защиты своего Отечества.

Алексий, митрополит Ленинградский

Ленинград
26 июля 1941 года

(Печатается по изданию: Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. Сборник церковных документов. Москва, 1943 г.).

Н.А. Сотников. Зоопарк в антракте между бомбёжками

С малых лет у меня было пристрастие к миру животных и птиц. Я помнил в цирке знаменитого клоуна и дрессировщика Владимира Леонидовича Дурова и таких славных «артистов», как козёл Василий Васильевич, гусь Сократ, свинья Чушка, собачка Бишка да и сам в девять лет в Полтаве перед поступлением в реальное училище подрабатывал в передвижном цирке… ассистентом дрессировщика. Так что с дрессированными зверями и зверятами был знаком не только как зритель.

А вот как литератор до поры до времени миром животных не занимался, пока однажды в самые трагические для нашего Ленинградского зоопарка дни не оказался невольным свидетелем того, что в нескольких словах можно охарактеризовать, как небывалое явление живой природы в осаде.

В зоопарке на Петроградской стороне я оказался не по своей воле: попал под сильный артиллерийский обстрел. Слышу – разрыв, ещё разрыв. Подбегаю к стенке вольера и падаю в сугроб. Дождался отбоя тревоги, огляделся по сторонам. Всё и знакомо, и незнакомо одновременно: остатки разбитых беседок, павильонов, клеток, вольеров, перевернутые скамейки… Хаос, пустота.

Зверей я пока не вижу, но люди уже появляются. Вот стоит охранительница звериного покоя работница зоопарка Степанова, закутанная в белый широкий тулуп, прижала к груди винтовку. Притоптывая ногами, обутыми в громадные валенки, она поглядывает на термометр – на шкале *больше тридцати градусов ниже нуля*! Но люди работают. Вот пожилой маляр, тоже закутанный в овчину по макушку, тащит к страусиному домику охапку дощечек для ремонта. Старик прилаживается на стремянке, словно дятел, начинает стучать топором по кровле павильона.

В радиорупоре вновь загремел металлический голос:

– Внимание, внимание! Артиллерийский обстрел района продолжается.

Степанова укрылась в кирпичной постройке. Я бросился туда же. Оглушительный разрыв раздался совсем близко. Соскочил с лесенки старик и упал на снег… Ранен?.. Убит?! Нет, переждал немного, поднялся и опять взялся за топор.

– Где же звери? – спрашиваю у Степановой. – Остались ли они в живых?

– Сейчас увидим, – отвечает и идёт в ту сторону, где только что разорвался немецкий снаряд.

Заглядываю в заснеженный вольер с пробитой осколками крышей и глазам своим не верю: там красуется рослый страус эму с веером из перьев на хвосте!

Иду дальше. За одной из загородок торчат оленьи рога. Жив северянин! Тут же прыгает пушистый заяц. Я подумал: «Добыча ведь! Лакомая пища в блокадном городе! А голодные до крайности люди сберегли живность, не съели».

В соседнем вольере мечется и без того пугливая лань. К стенке прижался осмотрительный козерог.

У Невы вновь разорвался тяжёлый снаряд. По военной привычке падаю и переползаю к ближайшему обезьяннему павильону. Зверюшки перепугались и сбились в кучу.

В обезьяннике я познакомился с верной служительницей зоопарка Евдокией Ивановной Дашиной. Истерически визжала мартышка Люся. Дашина подавала больному зверьку плошку с целебным настоем:

– Ветеринар признал у Люси нервное расстройство. Лечим валерьянкой, – поведала мне Дашина, сочувственно поглаживая голову мартышки.

Ухнул ещё один снаряд. Дашина прижала к себе зверька. В клетке заметался и завопил гамадрил Густав. Какой-то двуногий фашист Густав, притаившись за пушкой «Бертой» на Вороньей горе, пытает страхом своего тёзку, а Дашина протягивает плошку с валерьяновым настоем испуганному гамадрилу.

Отправляюсь в бегемотник. Довольно шустро поднялась с места знакомая всем ленинградским довоенным ребятам Красавица. Исхудала бедняжка! Увидев меня, она явно рассчитывала на угощение, но у меня с собой только журналистский блокнот и карандаши. Разочарованная Красавица полезла в свой бывший бассейн, а вода-то там давно вымерзла!

Подоспела Дашина с кормом – маленькой охапкой сена и кучкой капустных листьев. На воле бегемоты, по наблюдениям Брема, обожают нежные цветки лотоса, но наша Красавица с удовольствием пожирала клочья хряпы: не до жиру, быть бы живу!

Но бегемотов не зря называют речными коровами: без воды им совсем беда! У Красавицы от безводья потрескалась толстая шкура. Экзотическое водяное животное болело из-за безводья и жалобно ревело.

Дашина очень жалела бегемотиху – она к ней привязалась ещё с детских лет: ведь за Красавицей ухаживал ещё с 1911 года отец, да и всё её детство прошло в зоопарке. И вот для спасения своей любимицы Дашина отправляется с двумя ведрами на Неву. По нескольку раз в день (!!!) вступал она на невский лёд, с превеликим трудом черпала воду, тащила ведра к бегемотнику, подбирала щепки, разводила костерок – нельзя же ледяной водой южное животное поливать! Зато как была счастлива Красавица, когда её добрая няня поливала её огромное тело теплой водичкой и смазывала целебной мазью!

Как видите, каждый знал своё дело и в каждодневном инструктаже не нуждался, но общее руководство в зоопарке было, и осуществлял его зоолог Николай Леонидович Соколов. Был у него в блокаду маленький кабинетик в промерзшем домике-времянке. Застал я его склонившимся над огромной канцелярской книгой. Он сидел и писал свой блокадный зоодневник, не сняв шапки-ушанки и полушубка. На мраморном письменном приборе лежали какие-то кусочки металла.

Оказывается, это трагическая коллекция осколков бомб и снарядов, которые фашисты посылали на такой «военный» объект, как зоопарк!

Сколов позволил мне прочесть несколько страниц своих записей. Вот некоторые из них:

«9 января 1942 года. Сильный артобстрел. Ранен олень-изюбрь в левую плечевую кость. У самки козерога осколком пробито левое ухо. Помощь пострадавшим животным оказана на месте».

«1941 год. Девятый день войны. Сегодня мы отправляем в глубокий тыл наибольшие ценности нашего зоосада…».

Оказывается на баржу были погружены львы, тигры, чёрная пантера, ягуар Феликс, носорог Милли, зебра, редкие обезьяны с берегов Амазонки… Оставить пришлось наиболее громоздких. Что же стало с эвакуированными животными? Значительно позднее я узнал, что баржу с редкими *зверями зверски* потопил вражеский бомбардировщик в одном из каналов Мариининской системы!

Листаю наугад страницу за страницей:

«10 сентября 1941 года. У слоновника разорвалась фугасная бомба. Смертельно ранена слониха Бетти. Убит сторож. Многие годы ухаживал он за ней, холил её, нежил и не пожелал уйти со своего поста…».

На слоновьем мясе довольно долго продержались звери-хищники. Смертельно голодные сотрудники не взяли себе *ни кусочка* слонятины!

А вот удивительная история с бизоном. Провалился он в глубокую воронку от бомбы. Пришлось вытаскивать из ямы его с помощью лебедки. Вытащили *вручную*!

Мое изучение блокадных дневников прерывает уже знакомая мне Дашина. Она буквально врывается в кабинет Соколова:

– Николай Леонидович! Что делать? Мелкие хищники наотрез отказываются от пустой похлёбки. Чернобурки и куницы третий день ничего не едят. Горе мне сними!

Мы все трое отправляемся к звериным клеткам. Горностаи, соболи и песцы облизываются возле пустых кормушек. Видна павшая от голода норка. Унылый волчонок сидит, понурив голову…

– Не обижайтесь на них, Евдокия Ивановна, – сокрушенно отвечает зоолог. – У хищников врождённое отвращение к растительной пище.

– Как же спасти их от голодной смерти? – с дрожью в голосе спрашивает Дашина.

– Придётся прибегнуть к военной хитрости, – отвечает, поразмыслив, Соколов, и направляется в небольшой зоомузей. Он взял чучело тетерева, извлёк из чучела опилки, подставку и набил его растительной смесью, которую тут же, на наших глазах, приготовила Дашина.

А дальше разворачивается прямо-таки кинематографическое действие, которое мне как сценаристу особенно интересно наблюдать. Лже-тетерев стоит перед чернобурой лисицей как живой. Она встрепенулась, изготовилась для прыжка… Цап! И наша лисичка с урчанием пожирает макет птицы вместе с перьями.

Соколов от радости потирает руки:

– Мы вас обманули, лисичка! Придется вам сделаться на время вегетарианкой! А это, впрочем, и полезно: во-первых, на природе хищники собирают и поедают целебные травы, а во-вторых, у них полностью исчезают глисты, неминуемые при мясном рационе.

…Тем временем артобстрел прекратился полностью, а бомбежка ещё не началась. Антракт. Да и мне пора по моим кинематографическим и журналистским делам. И всё же ближе к весне я опять заглянул в это волшебное царство.

Первое, что я услышал, это беседу двух пожилых рабочих:

– Ничего! Одолеем… Солнышко начало пригревать. Травка покажется. Оживёт наше звериное царство.

Вдруг над нашими головами послышалось птичье пенье. А может, это показалось, может, другой звук?.. Так и есть, поют! «*Между небом и землей жаворонок вьётся…*». Значит, птицы больше не сгорают на лету от огненных взрывов. Значит, птицы несут весть о грядущей победе!

1942–1978

Марина Кузнецова. В зоопарк блокадный – несколько шагов

Поздняя осень 2010 года. Тот же зоопарк, на том же месте и так же называется – *Ленинградский зоопарк* – в память о незабываемых блокадных днях. Прошло без малого 70 лет с тех пор, как автор очерка *«Зоосад в осаде»* фронтовой журналист и кинематографист Н. А. Сотников побывал здесь после сильного артобстрела.

Разумеется, за эти минувшие десятилетия зоопарк преобразился неузнаваемо: построены новые павильоны, вымощены дорожки, расширена территория, и все-таки, как подчеркивают горожане старших поколений, очень многое узнаваемо, и поэтому пожилым людям так легко перенестись в свои детские годы.

Тем более что некоторые павильоны – приземистые, дощатые, выглядят точно так же, как в те далёкие годы.

И вот два с половиной года назад в одном из таких павильонов своими силами, не привлекая музейщиков со стороны, сотрудники зоопарка сумели создать небольшой музей «*Зоопарк в осаде».*

Открываем дверь и… попадаем в комнатку смотрителя зоопарка в военные годы!.. Прежде всего, взгляд падает на своеобразный мемориал животных, которые жили здесь в самые тяжёлые месяцы осады. На стене стройными рядами прикреплены металлические с белым эмалевым покрытием указатели, висевшие на клетках в начале 40-х годов. *Тур, песец, барсук, зубр, куница, бобр, росомаха, степная маленькая лисичка-корсак…* Как с горечью комментирует заместительница культотдела Ольга Андреевна Лятиева, потомство все эти животные не оставили, но оставили, без сомнения, след в истории и добрую память тех блокадных ребятишек, которым они одним своим видом скрасили тяжелейшие блокадные будни.

Слева от узкого прохода стоит обычный канцелярский стол, скорее всего, – конца 30-х годов. На столе – пишущая машинка, документы, чертежи, открытки, письма и брошюры времён блокады.

Нельзя обделить вниманием радиорепродуктор и даже патефон: без блокадного радио город представить себе невозможно, а патефон звучал только лишь в редкие минуты отдыха, напоминая о мирной жизни. Среди книг в мемориальной служебной комнате почётное место занимают издания блокадного времени, в том числе – сборник стихов и песен поэтов осаждённого Ленинграда.

Как известно, цирк в блокадном Ленинграде не работал, но для жителей города и бойцов Ленинградского фронта выступали отдельные цирковые бригады, как правило, очень малочисленные. Однако́ маленький театр зверей, своеобразный цирк, работал при зоопарке. В этом театре было всего два артиста – дрессировщики И. К. Раевский и Т. С. Рукавишникова, а артистами-зверюшками «работали» медвежонок, собачка и кролик. Выступали они не только в самом зоопарке, но и в школах, и в детских домах – драгоценные минуты радости для блокадных ребят!

…Вот и всё – дальше обыкновенная дверь, ведущая в современные хозяйственные помещения. Музей так мал, что трём-четырем посетителям уже будет тесно, но зато как велика сумма впечатлений!

Николай Ударов. Заповедник самых нежных лет

Кру́жат по́ни, пони, пони
разноцветные попоны,
катят яркие колясочки…
В зоопарке – словно в сказочке.
И восторг в душе, и страшно мне!
Я один, а где же старшие?
Вот они стоя́т и улыбаются:
им такое же катанье
вспоминается.
Колокольчики пускай и не валдайские.
В каждом возрасте людском
всегда есть даль своя.
Эта очень даже маленькая даль.
Вот и кончилась дошкольная езда.
Пони все послушно очень тормозят.
Новых предстоит катать ребят.
А вот эти на сегодня накатались.
Их к себе влекут другие таинства:
тигров посмотреть, медведей белых,
поглядеть, как в клетках скачут белки,
как орёл в гнезде своём красуется…
Всюду хорошо – куда ни сунься!
Но вот этот вот манеж
и этих пони
как-то больше всех
родное детство помнит.

Н.А. Сотников. Ботаники вступают в бой

Да, именно так, причём, не совершив при этом ни единого выстрела и оставаясь сугубо штатскими людьми. Несомненно, в истории войн бывали случаи, когда воюющим сторонам приходилось прибегать к помощи биологов, в частности, и ботаников, но такой добровольной мобилизации на борьбу с врагом, как в годы блокады Ленинграда, ботаническая наука ещё не знала!

Если при всей моей любви к живой природе я всё же оставался и остаюсь любителем, то о царстве растений мне приходилось писать и как очеркисту, и как киносценаристу ещё с довоенных времен. Продолжил я эту дорогую для меня тему и в послевоенные годы в видовых фильмах *«По Нижнему Амуру»* и *«По Среднему Амуру»*. Вот почему моё появление в блокадную пору в Ленинградском Ботаническом саду никого из сотрудников не удивило – меня уже там знали и довольно быстро и охотно, что называется, *«ввели в материал»*.

Ленинградские ботаники сражались с врагом. Да ещё как сражались! Фашисты чувствовали силу их сопротивления и даже наступления и непрерывно били из дальнобойных пушек по этому самому мирному островку Невской дельты.

Буквально два слова о предыстории этого царства редких и редчайших растений, рождённого по велению Петра Первого в 1714 году. Этот царский указ учреждал «аптекарский огород», поначалу исключительно в лечебных целях. Спустя сто лет сей «огород» был объявлен уже Ботаническим садом, а ещё через сто лет он стал отделом Ботанического института и наконец – Институтом Академии Наук СССР. Так здесь появились исследовательские лаборатории, гербарии, музей, библиотека… Чего здесь только нет! Пройдя по дорожкам и аллеям, вы совершите путь от заполярных широт до экватора, путешествие от болот до пустынь… Впрочем, тогда, зимой 1941 года, вопрос стоял о самом существовании этого дивного рая для растений.

Заснеженный парк был изрыт земляными траншеями, виднелись стрелковые бойницы в стенах… Крона одного из старейших дубов снесена снарядом. На светлой коре красавицы-березы зияют глубокие порезы, нанесённые острыми осколками. У подножий израненных деревьев торчат обломки ветвей, словно руки, взывающие о помощи!

Неисчислимы были богатства института: *пятнадцать миллионов листов гербария, сто пятьдесят тысяч томов ботанической литературы, свыше ста тысяч живых растений и примерно столько же музейных экспонатов…* Всё это не эвакуировать. Задача немыслимая, но частично выполнимая. И вот рука с молотком заколачивает очередной ящик с ценнейшей поклажей. Это рука учёного. В руке другого биолога малярная кисть. Она выводит на ящике надпись – пункт отправления: *«Казань»*.

… Когда обстрел затих, я навестил директора Ботанического сада Шипчинского. Профессор работал в своём кабинете при свете коптилок и днём: стёкла были выбиты, их заменяла фанера. Рука в перчатке торопливо писала: *«Мировая коллекция растений тропиков и субтропиков не может быть никуда убрана. Они должны оставаться здесь, в оранжереях с искусственным климатом, отвечающим природе каждой группы растений…»*.

Профессор взволнованно поведал мне о страшной бомбардировке сада 15 ноября, когда фашистская бомба, разрушив две оранжереи, погубила самую высокую пальму северных широт, доставленную сюда ещё во времена Екатерины Второй!

Мы пришли к месту катастрофы, и вот какая картина разрушений предстала перед нами: обнажённые балки Большой оранжереи воздеты к небу, мёртвый остов без единого стекла, большой купол покорёжен… Мы поднялись на груду битого стекла. Гигантское пальмовое дерево уже оледенело, понуро свесились листья-веера, обломленные взрывной волной.

К нам медленно подошёл престарелый садовод Курнаков. Он взял с земли юную пальму и, укутав её обнажённые корни полой своего полушубка, унёс из оранжереи, ставшей кладбищем растений.

До начала блокады в саду расцветало *около шестнадцати тысяч видов растений.* К концу первой блокадной зимы удалось сберечь ценой неимоверных усилий и совершенно немыслимой изобретательности едва лишь *около пяти тысяч* нежных созданий природы.

Надо было отправлять драгоценный груз на Большую Землю – учёные становились столярами, плотниками, стекольщиками и грузчиками. Прекратилась подача электроэнергии – становились кочегарами и печниками. И при этом ни на мгновение не забывали о научной работе – главном деле жизни. Профессор Шипчинский при свете коптилки продолжал свою монографию *«Озеленение пустынь».* У него дома зимовали юные пальмы и орхидеи. А Курнаков стеснил себя и членов своей семьи до предела, взяв на дом в качестве «постояльцев» *две с половиной тысячи кактусов*! Я побывал в гостях у Курнакова и могу лично засвидетельствовать – не было такого места в его квартире, где можно было бы укрыться от уколов этих своенравных гостей. Я ушёл на передовую весь утыканный «кактусиными» колючками! Удивительно, но факт, который я готов засвидетельствовать как очевидец: в блокадной квартире учёного впервые в истории растительного мира зацвёл дивный кактус, у которого не было ещё ни латинского, ни русского наименования. А зацвел этот кактус *яркой рубиновой звездой*!

… Ранней весной 1942 года я снова оказался на Аптекарском острове. Пальмовый рай оживал: появились стёкла, был наведён относительно возможный в тех условиях порядок. В сохранённой оранжерее была устроена своеобразная *больница для растений.* Умиравшим растениям, прежде всего пальмам, были сделаны операции, которые я безо всякого преувеличения готов назвать хирургическими.

Курнаков при мне высаживал своих колючих питомцев, доставленных из его квартиры. По соседству ботаник Правдин спасал японский виноград. Ботаник Щеглова на практике проверяла свою методику стимулирования роста с помощью так называемого «укороченного дня». Наряду с больницей для растений появился и… *детский сад* для крошек-эвкалиптов, кипарисов, пальм… Окрепнут – войдут на равных в мир взрослых растений.

Продолжая образные сравнения, назову ещё и *санаторий для ослабевших растений* – их пересаживали на воздух, под солнечные лучи, под первые весенние дождики.

Вы скажете: «Это всё – внутриинститутские работы!» Да, но, во-первых, без них не было бы и работ внешних, во-вторых, все они были залогом и важнейшим морально-психологическим фактором для других деяний в области научно-прикладной.

Питание есть жизнь. Эта формула стала для ботаников руководством к действию. Чирко вывел наиболее хладостойкий сорт брюквы, получивший номер 110. Корякина показала мне рукопись своего научного труда *«Воздействие светового фактора на быстрый рост овощей».* Не считайте это название слишком специальным – весной и летом весь наш огромный город превратился в необозримый огород, а Ботанический сад дал горожанам *девять миллионов кустов рассады,* выращенной по всем правилам высокой академической агронауки!

В спешном порядке решались проблемы повышения урожайности овощей. Биолог Николаева развернула работу шампиньонной лаборатории. Этими вкусными и полезными грибами снабжались госпитали и стационары. Специально на повестку дня был поставлен вопрос: какие дикорастущие травы больше всего содержат витамин С? А этот витамин – неустрашимый борец с цингой! Ботаник Никитин обнаружил в сорняке купыре витамина С *во сто раз* больше, чем, например, в морковке! Подлинной сенсацией стала выставка съедобных дикорастущих растений, заставивших посмотреть на них новыми глазами. А Никитин, продолжая свои начинания, пропагандировал салаты, супы и приправы из питатель-

ной растительности, настойки витаминов из клевера, крапивы и иван-чая. Добавим к этому перечню хвойный напиток, получивший скромное название «С». На себе испытал его целебное действие, когда меня лечили в госпитале от дистрофии.

Лекарственные растения выращивал в убыстренные сроки профессор Монтеверде и не только выращивал, но и разводил тут же из них лекарства для города и фронта. А профессор Голлербах открыл и внедрил вещество, заменяющее дефицитную при массовых ранениях вату. Этим веществом оказался препарат из… торфяного мха.

Лечили больных и… насекомыми. Были получены стерильные личинки мух для быстрейшего заживления ран, которые врачевали также чудодейственным пихтовым бальзамом.

Ботаники, как и биологи других специальностей, разумеется, не очень-то приветствовали курение, но раз уж положена бойцу махорка, а её недостает, так они стали её выращивать в пальмовой оранжерее. Как это поётся в нашей фронтовой? «Давай *закурим, товарищ, по одной!* Давай *закурим, товарищ мой!»* И мало кто знал из бойцов, что благодарить за этот «закур» надо ботаников с Аптекарского острова!

Как-то мне довелось не только повидать, но и попробовать один деликатес: для праздничных новогодних столов изготавливались на первое блюдо разваренный лишайник, а на десерт – желе из водорослей! Вполне съедобно и даже по-своему вкусно.

Я уже не говорю о том, что Ботанический сад стал общегородским консультативным пунктом для огородников. Ботаник Иванов учил наших *земляков* (здесь *это слово* особенно уместно!) разводить картофель методом «отводок».

Не стану останавливаться на том, что сотрудники Ботанического сада жили и работали *среди несметных запасов пищи* – одних образцов семян было свыше *ста тысяч*\ Но никто не съел даже зернышка!!! ТАК вопрос даже не ставился. Зато за блокадные годы было защищено десять диссертаций, созданы научные труды о флоре Ирана и Памира. И это тоже был вызов врагу!

Но помогали ленинградские ботаники фронту и самым непосредственным образом. Вот военный лётчик поднимается в воздух для аэрофотосъемок, а учёный-ботаник занимается дешифровкой, изучая снимки природных явлений, фронтовых ландшафтов, уточняя, где лес, где болото, какова проходимость местности на пути нашего грядущего наступления, где сгоревший лес, как изменилась флора за военные годы. А она менялась неузнаваемо!

А вот прифронтовой аэродром, место командировки опять же ботаника. Он советует, как сделать, чтобы маскировочные ветви не пожелтели раньше времени и не демаскировали бы самолёты на фоне свежей зелени.

Но и это ещё не всё! Ботаник на борту разведывательного самолета обнаруживает пожухлую зелень и передаёт по радио нашим артиллеристам:

– Здесь вражеские орудия! Бейте их, товарищи! За Родину, за Ленинград!

1942–1978

Марина Кунецова. Ботанический сад сегодня, или Доро́гой славы и побед

Если в Зоопарке имеется постоянная специальная выставка, эдакий микромузей *«Зоопарк в блокаду»,* то в Ботаническом саду подобного музея нет. Есть лишь небольшая фотовыставка в фойе ротонды, откуда берут начало многие экскурсии. В библиотеке находятся две небольшие коллекции научных книг блокадной поры и фотоматериалы. И, наконец, – самое главное и самое волнующее – это живые экспонаты веков и блокадных лет: деревья, кустарники, пережившие все лихолетья и испытания. Эти живые экспонаты достойны поклонения и самого тщательного ухода за ними. Вот в Зоопарке подобных долгожителей встретить невозможно. Разве что таким своеобразным рекордсменом мог быть слон, но чудесная слониха Бетти погибла, а природа всем остальным обитателям клеток и вольеров отпустила несравнимо меньшее число лет, чем растениям.

У меня с собой был фотоаппарат, и, скажу прямо, он мне в Ботаническом саду помог куда больше, чем авторучка. Как выяснилось, Н. А. Сотников так обстоятельно и подробно и в то же время живо и увлекательно поведал о блокадных буднях ботаников, что чего-то принципиально нового мне найти не удалось, а вот для фотоаппарата работа сразу же нашлась.

Во-первых, я сфотографировала обложки и переплёты научных и популярных книг, изданных в блокадную пору. Оформлены они весьма скромно, но волнуют самим фактом своего рождения и существования. Делятся эти труды ленинградских ботаников на две группы: чисто научно-теоретические труды, зачастую никак не связанные с блокадной тематикой, но написанные в блокадную пору, что уже само по себе есть деяние героическое. Вторую группу составляют преимущественно малолистные сугубо утилитарные брошюры, предназначенные для всех горожан: о дикорастущих (но нашей климатической зоны) лекарственных растениях, о роли витамина С, о пользе ягод шиповника, о грибах, которые ленинградцы смогут в конце лета и в начале осени собрать в садах и парках (здесь явно имелись в виду северные районы города: ясно, что в Летнем саду грибов нет!).

Перефотографировала я групповой фотоснимок *«Работники блокадного Ботанического сада».* Снимок сделан на фоне оранжереи, что придаёт фотографии особую эмоциональность, вероятно, – где-то сразу после войны. У многих на пиджаках и даже на платьях – медали, скорее всего, – *«За оборону Ленинграда»* и *«За доблестный труд в Великой Отечественной войне».* Я насчитала семнадцать человек. Возможно, кто-то не вошёл в кадр, кого-то не оказалось на месте, но все они, несомненно, – *гвардия ботаников блокадного города*!

Особенно впечатлила меня фотография ученого Николая Ивановича Курнакова, причём, именно – своей обыденностью: он просто-напросто в блокадную пору занят своим делом, продолжает его так, как будто бы нет ни обстрелов, ни бомбёжек, ни лютых голода и холода.

Потряс меня контраст: скелет большой пальмовой оранжереи (одни стальные каркасы остались!) и современной здание этой оранжереи, изящное, словно выставочный павильон.

И всё же больше всего меня потрясли самые живые экспонаты – спасённые деревья. Стояли дивные дни золотой осени, и дерево, пережившее блокаду, было особенно прекрасно в солнечных лучах. Словно в какие-то волшебные чащи уходит Аллея *славы и побед*, удивительное живописное творение, созданное природой, людьми и Победой 1945 года.

2010

Николай Ударов. Ода Ботаническому саду

Остров растений,
Аптекарский остров
с памятью нашей
не расстаётся.
Я с биофаком
судьбу не связал,
но Ботанический сад
величал.
По́ сердцу мне
всепланетная флора.
Море растений.
Воистину море!
Подвиг чарует
блокадной поры:
даже и здесь
был блокады прорыв!
Наш дорогой
Ботанический сад
тоже тебя защищал,
Ленинград!
Здесь создавались
продукты питания,
снадобья новые
для врачеваний,
хитрости мудрые
для маскировки…
Вот ведь какой героический
остров!
Мне дорог он
кинокадрами детства:
рай этот
с домом почти по соседству.
Оранжерейными
нас не назвать,
но мы любили
в мечтаньях витать
в этих диковинных
наших теплицах.
Как чудесам этим
не восхититься!
Злой тесноты
приговор так суров:
комнатных не было даже
цветов!
Разве что

в вазочке – ветка сирени…
Мы с восхищеньем
на пальмы смотрели,
а повзрослели —
всё ждали мгновения,
как же, когда зацветёт альба-регия![18]

[18] Альба-регия – редчайший дивной красоты цветок большого диаметра. Его цветение – праздник не только для сотрудников Ботанического сада, но даже для всего нашего города: о цветении альбы-регии сообщали газеты, радио, телевидение, и наши горожане специально приходили в Ботанический сад полюбоваться этим чудом природы!

Н.А. Сотников. Бронзовая стража

Поведал я вам о живой природе, о царстве растений в море огня и стали. Настала пора рассказать о том, *как были героически спасены произведения городской скульптуры*, без которых невозможно представить себе город на Неве.

Скульптуры сравнительно небольшие, комнатные, либо укрывались в недрах музеев, либо были эвакуированы. А как эвакуируешь, скажем, Медного всадника! Так он и простоял на своём месте все блокадные дни, укрытый мешками с песком. Не очень-то с точки зрения сопротивления материалов надёжное укрытие, но всё же гарантия от «ранений» осколками и маскировка. Думаю, что прямого попадания тяжёлого снаряда и тяжёлой авиабомбы он бы не выдержал!

Чудом сохранились у меня журналистские блокадные блокноты. В одном из них – цитата из нашего разведдонесения: *«В разорённом Стрельнинском дворце, превращенном фашистами в склад своих снарядов, найдены таблицы артиллерийских стрельб с указанием стратегических целей…».* Какие же цели враг именовал *«стратегическими»?* Вот, например, Эрмитаж (номер 9), вот Институт охраны материнства и детства (номер 708)… Думается, здесь никакие комментарии не нужны!

Артиллерийские выстрелы могли быть прицельными, бывали и наобум, но, разумеется, не в пустыри, а в любом случае – в места социально и культурно значимые. Беззащитнее всех оказывались городские памятники, но добрые натруженные руки спешили внести свой вклад в их спасение. У меня нет всех точнейших сведений о том, *когда, как* и *персонально кто* спасал тот или иной памятник. Это дело будущих историков культуры. Но своими глазами я видел, как укладывался прочный каркас из дерева на памятник дедушке Крылову в Летнем саду. Футляр состоял из двух частей: верхняя оберегала самого баснописца, а нижняя – знаменитых героев его басен.

Знаменитых на весь мир клодтовских коней сняли с пьедесталов и укрыли совсем неподалёку – они были зарыты в землю в сквере возле Аничкова дворца. Так что путь к спасению для коней и их укротителей был недолог.

Бронзовую статую Пушкина-лицеиста в бывшем Царском Селе зарыли в землю рядом с постаментом. Это было настолько просто, что оккупанты не догадались, что памятник никуда не был увезён.

Медного всадника закрывали большими мешками с песком тоже на моих глазах и тоже маскируя широкими досками под цвет асфальта, как и памятник В. И. Ленину у Финляндского вокзала.

Как демонтировали и куда увозили знаменитых бронзовых быков скульптора Демута-Малиновского (они украшали вход в мясокомбинат имени Кирова), я лично не видел, но был свидетелем их транспортировки – огромный трактор-тягач, управляемый солдатом, на стальных катках вёз их… в центр города! Грохот, конечно, стоял страшный. Скорость передвижения была мала, и все редкие прохожие затыкали уши, пропуская странный движущийся груз. Лишь весной 1942 года я, после тяжёлой контузии поправляясь в батальоне выздоравливающих (квартировал он в бывших монастырских кельях Александр о-Невской Лавры), случайно узнал, что в кустарнике вблизи могилы своего создателя были укрыты наполовину закопанные в землю его бронзовые быки!

Небывалое, подлинно возвышенное и трагедийное по своей силе совпадение! Ведь не мог же рядовой солдат под огнём в глухом уголке кладбища отыскать могилу скульптора и *именно там* оставить свой бронзовый груз! Воистину, как писал великий кинорежиссер и писатель А. П. Довженко, *«жизнь послала нам сюжеты необычайные, они взывают к*

художественной обработке»! И это уже задача не очерка, не записок очевидца, а прозы, драматургии, поэзии.

Спустя почти тридцать лет я побывал на местах былых боёв, где протекали мои блокадные будни, и вновь увидел быков на своём месте. Они вернулись на свои посты, оставив навсегда в одиночестве своего автора и творца…

Возникает закономерный вопрос: «А кто же выполнял эти кропотливые, напряжённые и длительные работы?» Разумеется, были специально назначенные люди. Я и в Летнем саду у памятника Крылову, и у Медного всадника видел и выделял зрительно явных лидеров, организаторов. Но многие, в том числе даже обыкновенные прохожие, присоединялись охотно и решительно к этим работам! Как мне стало известно, среди них были и бойцы МПВО, и рабочие, и служащие, и студенты, и школьники… Одним словом, – ЛЕНИНГРАДЦЫ. Они защищали свой город, как свой дом.

Единственно какие памятники не укрывались *сознательно,* это скульптуры полководцев Суворова на Марсовом поле, Кутузова и Барклая де Толли возле Казанского собора. В этом был глубокий поэтический смысл. Сам видел, как проходившие мимо этих монументов военнослужащие не только строем, но и в одиночку *им отдавали честь*\ Это тоже огромной силы художественный образ, к сожалению, не получивший своё воплощение в известных мне фильмах и спектаклях о блокадной поре.

Но вот об одном израненном памятнике мне посчастливилось поведать в своем документальном фильме «Город поэта». Вы, конечно, догадались, что речь идет о памятнике Пушкину у Египетских ворот, ведущих в город его имени. Стоял этот монумент возле переднего края обороны. Спасти его не успели, а вражьи руки и глаза упражнялись в стрельбе по такой забавной для фашистов мишени! Образ родился сам собой и был единственно верным: *немецкие фашисты – это дантесы XX века.*

Уже после войны я узнал, что многими работами по спасению шедевров городской скульптуры и зодчества руководил заслуженный деятель искусств России скульптор Игорь Крестовский, сын известного прозаика Всеволода Крестовского, автора нашумевшего в своё время романа «Петербургские трущобы». Игоря Всеволодовича я знал лично ещё до войны, консультировался с ним в процессе работы над сценариями научно-популярных фильмов об архитектуре и скульптуре города на Неве, но в блокадную пору наши дороги не совпадали. Я видел лишь результат его трудов и замыслов.

Пришлось Игорю Всеволодовичу поработать не только как организатору, скульптору и реставратору, но и как… химику: он предложил варианты охранительной для скульптур смазки, рекомендовал использовать для сохранности бронзы непромокаемую бумагу. Определял Крестовский и места для подземных укрытий, и их габариты.

В результате этих невероятно сложных в блокадных условиях трудов почти все довоенные шедевры городской скульптуры горожане и туристы могут увидеть *на своих местах*! Не в этом ли каждодневная даже ежесекундная оценка подвигов тех, кто сберёг для нас городское убранство Северной Пальмиры!

…Уже после войны я был несказанно потрясён и как писатель, и как кинематографист и, наконец, просто как ленинградец фотографией из экспозиции тогда ещё восстанавливаемого Екатерининского дворца в городе Пушкине.

Солдаты, по виду сапёры, одетые в зимнюю форму, с помощью небольшой лебёдки понимают из траншеи фигуру Пушкина-лицеиста скульптора Баха. Не думаю, что безымянный фотограф специально готовился к съёмке, взвешивал все «за» и «против», словно создавая шедевр. Но фотография получилась не просто мастерской, а подлинным глубоким произведением фотоискусства. Юный Пушкин как бы встаёт из мрака и возвращается к нам как наш друг и вечный современник. Так и хотелось мне по кинематографическому опыту сво-

ему сценарному дополнить этот снимок цитатой из крылатых пушкинских слов: «Да *здравствует разум, да скроется тьма!»*

1942–1978

Николай Ударов. «Все скульптуры – на своих местах

Все скульптуры – на своих местах.
Мы не замечаем впопыхах,
что они в блокаду спасены,
что воскресли из могильной тьмы.
Я прошу – замедлите свой шаг.
В тех скульптурах – города душа.
Вот она – воистину бессмертна.
И в скульптурах городских
жива Победа!

«Вот мой отчёт перед Победой…» (Творческий отчёт кинодраматурга Н.А. Сотникова за время Великой Отечественной войны)

…В годы войны пришлось заниматься *исключительно кинодокументалистикой.* Ещё в 1938 году я написал сценарий киноочерка «Глинка». В 1939 году увидел экран мой полнометражный фильм *«Архитектура Ленинграда»,* в 1940 году— фильм *«Пенаты»* («Зарекой Сестрой»), в 1941 году в самый канун войны, – *«Гдовская старина».*

Особенно мне дорога была работа над очерком «Пенаты» («За рекой Сестрой»). Тема возвращения нашей Родине этого дивного уголка земли, навсегда связанного с именами Репина, Горького, Маяковского, увлекла всю съёмочную группу, поэта Виссариона Саянова, который подарил фильму свои стихи, и композитора Дешевова, написавшего музыку, ставшую для фильма органичной настолько, что без неё ленты словно бы и не существовало!

Перед самым моим уходом в народное ополчение мы с режиссёром Павлом Ивановичем Паллеем[19] завершили киноочерк «*Народный учитель»* о том, как сельский учитель Савельев вместе со своими учениками создаёт фольклорный ансамбль, собирает старинные песни, даёт вторую жизнь забытым было народным пляскам и хороводам. Сама жизнь завершила за нас фильм – учитель уходил на фронт. Проводы его на фронт мы и успели заснять.

После того, как я поварился в боевом котле 13-й стрелковой дивизии, той самой, в которой зародилось снайперское движение, я сходу смог подключиться к работе режиссера Сергея Ивановича Якушева над фильмом *«Снайперы».* Специально разыскивать необходимый материал мне не пришлось – он был, если так можно выразиться, моей повседневностью. Буквально на моих глазах прогремели первые снайперские пули *Феодосия Смолячкова, Александра Говорухина, Николая Остудина* и других прославленных снайперов Ленинградского фронта. Съёмки велись на переднем крае. Где-то мы прибегали к услугам пиротехников, но в основном это строго документальные кадры, да и сама обстановка создавала суровый и мощный фон для нашей кинокартины. Это было в 1942 году.

Второй фильм, на сей раз созданный в содружестве с режиссером Валерием Михайловичем Соловцевым[20], – «*Прорыв блокады Ленинграда».* Фильм снимался по горячим следам боевых действий. Славно поработали наши кинооператоры! Они оставили навсегда для истории прорыв мощных оборонительных линий фашистов на Неве, штурм Шлиссельбурга, красное знамя, поднявшееся над старинным собором Шлиссельбурга, последние выстрелы «Орешка» – Шлиссельбургской крепости, пробывшей *почти два года* во вражеское осаде. А дальше – бои за рабочие посёлки, за Синявино и, конечно, соединение и единение двух фронтов – Ленинградского и Волховского. Вся организаторская работа и монтаж принадлежат Соловцеву, а мне – дикторский текст и участие в планировании съёмок, что для сценариста, особенно документалиста, очень важно – именно так порою и пишется сценарий, *в действии*!

Прежде чем рассказать о третьем фильме, надо сделать небольшое отступление. В 1939 году по моему сценарию режиссером Владимиром Николаевичем Николаи[21] снимался научно-популярный киноочерк *«Архитектура Ленинграда».* Особое место в том фильме заняли памятники русской военной славы. И вот теперь эта красота – в осаде, в осаде – и

---

[19] П а лле й Павел Иванович (1901–1962) – режиссер и оператор заслуженный деятель искусств РСФСР.

[20] Соловцев Валерий Михайлович (1904–1977) – режиссер заслуженный деятель искусств РСФСР, Лауреат Государственной премии

[21] Николаи Владимир Николаевич (1897–1971) – кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.

искусство, и природа. Они страдают от врага, но они и борются с врагом, возвышая души наших воинов. И вот мы с режиссёром Марией Марковной Клигман[22] при участии представителей архитектурной общественности города и при помощи Горкома партии показываем Ленинград как *«Город русской воинской славы».* В какой-то степени этот фильм – вторая, авторская редакция фильма, созданного до войны, но в этой кинокартине немало и нового. Вообще, этот пример поучителен для меня как автора сценария. Он мне доказал, что можно и предыдущую работу включить в сегодняшний боевой день.

Таким образом, мною сделано *четыре киноочерка.* Была и ещё одна работа, на первый взгляд, неприметная, но необходимая и постоянная. Все эти годы я был редактором выпусков *«Ленинградской кинохроники»,* писал тексты для дикторов, принимал участие в планировании.

Да, я не написал ещё об одном фильме – *«Выстрел»*[23]*,* но он носил сугубо прикладной, военно-учебный характер. Мы старались обобщить опыт снайперов и в военно-педагогических целях суммировать его.

Сейчас я нахожусь в госпитале. Как вы видите, мне разрешили писать. Хотя не скрою – последствия контузии постоянно дают о себе знать сильными головными болями и общей слабостью. Как только позволит здоровье, возвращусь во фронтовую печать.

Старший лейтенант
Н.А. Сотников

4 октября 1944 года

[22] Клигман Мария Марковна (1908–1994) – кинорежиссёр заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых и Ломоносовской премии.

[23] Сотников не упомянул в этом творческом отчёте фильмы «Сбор ленинградскими верующими денег и драгоценностей на танковую колонну имени Дмитрия Донского и эскадрилью имени Аександра Невского» (см. очерк Н.А. Сотникова «Три встречи с будущим патриархом, стр. 50) и сугубо научный фильм, тоже заказной, о водянке как следствии хронического голода в блокаду. Он имел длинное медицинское название, которое в памяти автора не сохранилось. Этот фильм для массового показа вообще не предназначался, а служил научным целям.

Н.Н. Сотников. Таинственная киностудия блокадного Ленинграда

Удивительное дело – листаю уже который раз словари, справочники, учебники и пособия по истории кино. Об этой студии ни слова, как будто бы её и не было! А ведь была, действовала в тяжелейших блокадных условиях, выпускала кинохронику, документальные, учебные и даже научные фильмы. Откуда же она взялась?

Вот что говорит короткая справка в аннотированном каталоге нашего Центрального архива литературы и искусства: «По приказу Комитета по делам кинематографии от 30 апреля 1942 года Ленинрадская студия кинохроники объединяется со студией «Лентехфильм» под названием «Ленинградская объединённая киностудия» в составе Главкинохроники». С 7 апреля 1944годаЛОК разукрупняется. Ленинградская студия кинохроники снова стала самостоятельной и вошла систему Главного управления по производству документально-хроникальных фильмов Министерства кинематографии РСФСР.Цитирую по сборнику «ЦГАЛИИ» (Путеводитель, издательство «Лики Росии», 2007, с. 83).

Выходит, сугубо внутриведомственная акция? Нет, как говорят, «поднимай выше»! Вопрос, оказывается, решался на уровне заместителя Председателя Совнаркома СССР А.Я.Вышинского, который подписывает 29 апреля 1942 года Распоряжение № 7566-Р о создании Объединённой студии (обратите внимание – уже через день следует приказ Комитета по делам кинематографии; поразительная оперативность!). Директором новообразованной студии назначается бывший киноактёр, режиссёр-документалист В.М. Соловцев. Под его руководством в 1967 году я проходил редакторскую практику на Ленинградской студии

документальных фильмов, где он тогда был директором. Очень жалею, что не расспросил его тогда обо всех этих волнующих подробностях!

Есть ли вещественные, музейные, следы ЛОКа? Нет, хотя маленький музей Ленинградской киностудии Леннаучфильм существует. Правда, из экспозиции можно узнать о некоторых подробностях блокадного быта, увидеть некоторые приспособления, кинокамеру. Но ЭТА ГЛАВА в целом как бы пропущена. Нет ясности, что выпускали, каков был метраж, какое число наименований… Почему? У меня лично пока один ответ: производственное слияние не означает творческого единения: документалисты и «популяризаторы» всегда держались наособинку, в том числе и в Союзе кинематографистов, что я особенно остро почувствовал в Ленинградском Доме кино на праздновании 70-летия Леннаучфильма. Можно сказать смело, что разукрупнились они с удовольствием! На основании Распоряжения опять же Совнаркома СССР от 29 марта 1944 года.№ 7058-Р. Дело не только в принципиальной разнице методик, но и в творческом соперничестве. Отец эти противоречия преодолевал и как сценарист и как редактор сравнительно безболезненно, одинаково увлечённо работая и в той, и в другой сферах кинематографа. Некоторым творческим сотрудникам этот синтез давался тяжело, а то и ВОВСЕ не давался.

Велик ли был блокадный коллектив? Для блокадных условий – да. Нашлось упоминание о производственном совещании, которое проходило в помещении «Лентехфильма»: свыше 50 работников приняли в нём участие!

И, наконец, вопрос географии. С ним больше всего неясностей: «Популяризаторы» утверждают, что все фильмопроизводство было на их базе. Но ветераны, которых я ещё успел застать, возражают, Оказывается после того, как бомба попала в павильоны Ленкинохроники, где было много стекла, одно время они пользовались помещением на Лиговском проспекте, но и туда попала бомба. Тогда пристанищем стал Клуб строителей на Крюковом канале (классический адрес документалистов по следующих лет). Там был… кинозал! Его наскоро переоборудовали в производственный кинозал. Вот там-то и шёл просмотр фильма,

о котором у нас в книге идёт речь в очерке «Три встречи с будущим патриархом». А вообще-то тема не закрыта и взывает к продолжению исследований.

Н.А. Сотников. На рассвете нашей Победы

До Берлина – считанные километры, до Победы – считанные дни. А ведь совсем недавно я ещё считал блокадные дни и воевал на невских берегах и как военный корреспондент, и как сотрудник фронтовой кинохроники. А теперь я, спецкор газеты 61-й армии Первого Белорусского фронта *«Боевой призыв»,* лежу на песчаном низком берегу Одера среди лодок и понтонов, приготовленных с ночи для форсирования решающего рубежа.

С крутого вражеского берега бьют пулемёты. Опасно столкнуть лодку по песку в воду, но кое-кто из бойцов уже рискнул и остался навсегда на отмели. И вот один рассудительный пожилой солдат по фамилии Бондаренко (я знал его и писал уже о нём) нашёл неожиданный выход. Он решил плыть, прикрываясь лодкой, толкая её впереди себя! Потом смотрю, он быстро переваливается через борт и плывёт, не поднимая вёсел, гребёт руками. Доходит до роковой середины и… «безвольно» движется вниз по течению. На том берегу уверены: и этот «готов» и больше пуль на него не тратят. А Бондаренко жив-здоров! Он начинает управлять лодкой всё очевиднее и заметнее. Вот лодка устремляется к ТОМУ берегу. Впереди мысок с кустарниками. Да, здесь уже можно замаскироваться. Вижу, что примеру смельчака следуют и другие бойцы. И вскоре оттуда, с мыска, во фланг врагу начинают бить наши ручные пулемёты.

Честно говоря, и мне страшно хочется туда, на плацдарм! Но мне не 19 лет, как тогда, в 1919 году, когда я служил у Котовского, а почти сорок пять и твердо помню приказ своего старшего начальника генерал-майора Котикова: «Никакого лихачества! Оставаться на нашем берегу и дать на первую полосу газеты репортаж с переправы». Мне оставлено, как сейчас помню, 180 строк. Ответственный секретарь у нас считал макет с точностью до строчки и был большой педант. Что ж, о Бондаренко и последовавших за ним ребятах как раз – 180 строк! В самый раз!

А дальше время как на крыльях понеслось. Не жизнь – оплошное движение – вперёд, вперёд!.. И так вплоть до того самого дня, 9 мая, который я встретил на берегу Эльбы. Накануне в сумерках мы достигли притихших берегов далекой реки. Домчались и с ходу уснули в ивняке, на траве, страшно утомлённые, но спокойные. Спокойные впервые. Это казалось странным, в том числе и мне: ведь я только что *с того света* вернулся в самый канун Победы! Вот обидно было бы! А получилось так.

Наша машина испортилась, я со своими ребятами из редакции на дороге встали и всё попутки ловили. Один лихой шофёр тормознул: «Одного из вас возьму! Садитесь в кабину, товарищ старший лейтенант!». Это он меня приглашает. Я немного проехал, а потом и говорю, что хочу в кузове подремать – там сено, свежий воздух. Тепло уже совсем полетнему. Сказано – сделано. И буквально через какие-то полчаса шальным снарядом срезает кабину, и я отделываюсь лишь мелкими ушибами и синяками. Парня жаль! Отличный водитель был и человек очень отзывчивый, приветливый. Даже толком не познакомились – думал, что дорога ещё дальняя, успею…

И вот ещё о чем думалось мне на песчаной лужайке под тихое плескание вод Эльбы. Вчера я пережил, пожалуй, самое сильно впечатление за все военные годы и дни. Всё было: голод, и холод, и гибель друзей, и смертельная усталость, и отчаянье, и азарт боя, но такой мудрой и разноплановой одновременно картины я ещё не видал никогда.

На огромной фронтовой дороге я видел четыре потока. По центру дороги неслись наши пехотинцы. Это наступали на колёсах войска Первого Белорусского фронта, который я также полюбил, как свой родной Ленинградский, и на всю жизнь считаю своим. На писательских ветеранских перекличках так и отзываюсь дважды – и как боец Ленинградского фронта, и боец Первого Белорусского.

На чём летали наши ребята? На крыльях Победы, конечно, образно говоря! А конкретно? И на грузовиках, и на самоходках, и в легковых машинах, и на мотоциклах, и даже на велосипедах, на транспорте своём и трофейном, на всех подручных средствах передвижения! Мчались, мчались, мчались до перекрёстка.

Я и сейчас вижу его, он стоит перед моими глазами, этот *перекрёсток середины XX века.*

Слева, в обратную сторону, на восток, довольно стройными рядами маршируют приободрившиеся военнопленные, вызволенные нами из гитлеровских концлагерей. Шли генералы, офицеры, солдаты самых разных армий: итальянцы, бельгийцы, американцы, англичане, французы, норвежцы, даже финны… Каждая колонна – со своими национальными флажками, трепетавшими в приветственных взмахах. Вся Европа кричала нам «Ура!», Вся Европа, казалось, вышла из плена благодаря нашему наступлению. Наступавшим некогда было заниматься встречами, приветствиями. Наша великая миссия была ещё не завершена.

А эти все люди спешили именно на восток, где их ожидало на наших заставах у Одера и Вислы давно желанное освобождение, еда, отдых, внимание и сочувствие. Они это знали, идя на восток даже тогда, когда их страны находились там, на западе, где продолжать громыхать последние битвы Второй мировой войны. «Зачем лишний риск?» – рассуждали здравомыслящие европейцы: ещё несколько дней и дорога домой будет свободной и главное – безопасной.

Туда же, на восток, шли и советские люди, освобождённые из фашистской неволи. Им не надо было поворачивать назад, они следовали вперёд неуклонно. И если среди иностранцев царило весёлое оживление, то хотя и в этих наших колоннах были вспышки ликования, но больше было слёз. Любой непредубеждённый видел, что *нашим в плену и вообще на войне досталось больше, судьбы сложились в целом трагичнее, вид был изнуреннее, почти все шли в настоящих лохмотьях, шли медленнее – и хотели бы быстрее да сил не было*! И вот в этих наших колоннах то там, то сям начинались и умолкали песни. *Народ нёс свои песни на Родину*! Он их не забыл. Он украшал этими песнями свою дорогу домой.

Была ещё третья нескончаемая вереница людей. По правой стороне магистрали, но строго на запад, невзирая ни на что, уходили гражданские немцы – то есть население восточных земель так называемого «тысячелетнего рейха», который доживал на наших глазах свои последние дни. И даже часы.

Медленно, но упорядоченно двигались старики, старухи, подростки, женщины-матери, толкавшие перед собою детские колясочки, как видно, очень тяжёлые, потому что дети буквально утопали среди каких-то вещей. Шли эти немцы молчаливо, понуро. Что их ждёт там, между Эльбом и Рейном? Они надеялись на успокоение. Им не мешали. Я не видел, чтобы их кто-нибудь тронул.

Все колонны, все названные мною потоки двигались сами по себе, *не сообщаясь друг с другом.* И в этом, вероятно, тоже был глубинный исторический смысл, было всему этому и политическое, и психологическое объяснение. Я стоял как зачарованный и видел всё не только глазами фронтовика, но и глазами кинематографиста. Но тогда ещё не был рождён широкоформатный экран, и не нашёлся до сих пор сценарист и режиссёр, который способен был бы художественно постичь увиденное. И я до сих пор мучаюсь многими вопросами, терзаюсь догадками, спорю сам с собой.

А четвёртый поток? Это те, кто ещё недавно мнили себя хозяевами Европы и даже всего мира, – фашистские солдаты. Где они сейчас? Вот они, растерянные, жалкие, суетливые, безоружные, не находящие себе места на асфальте перекрестка середины XX века. Немецкие солдаты толпятся на обочине. Среди них больше всего либо слишком молодых, либо слишком пожилых. Это последние резервы Гитлера. Они никому не нужны. С ними никто не считается, никто не общается.

На кого же с надеждой устремлены их глаза в эти мгновения? Ведь им так хочется уже сейчас что-нибудь узнать о своём месте на земле? Им хочется определённости, порядка, ясности, наконец, им хочется еды. И со всеми своими многочисленными вопросами они тянутся к единственному человеку, олицетворяющему для них *власть* на всей земле, к полновластной хозяйке Европы – молоденькой советской регулировщице!

Этой девушкой нельзя было не залюбоваться! Она была в пригнанной к стройной фигуре выутюженной шинельке. На ней красовалась пилотка, из-под которой всё же выбивалась русая коса. Ей было некогда даже поправить прическу!

– Фрау!.. Фрейлен! – взывали к ней обескураженные немецкие вояки. – Гитлер капут!

Девушка их не слушала. О том, что Гитлеру будет капут, она знала и сама – наверняка ещё с первых дней войны.

– Битте! Плен, плен! – кто-то подсказывал так нужное немцам сейчас *слово,* важнейшее, спасительное.

Дескать, фрейлен, милая! Возьми нас, пожалуйста, в плен! Об этом её, хрупкую, изящную девушку, одинокую на ВСЁМ огромном перекрёстке (БЕЗ ОРУЖИЯ ПРИ СЕБЕ!) молили сотни здоровенных мужиков! Это было трагикомическое зрелище!

Но девушке не было времени ни оценивать ситуацию, ни разбираться с немчурой. Одной рукой она отмахивалась от них, как от назойливых мух, а другой поднимала и опускала свой жезл, который в данный момент мне казался маршальским жезлом, видным всей взбудораженной Европе.

Она указывала дорогу всем участникам всех потоков, она знала место каждому: нашим войскам – только вперёд, на запад, гражданским беженцам – туда же (они порядка не нарушат, сами дойдут), путь на восток – освобождённым иностранцам и нашим родным людям. А военным немцам, ступавшим порою на запретный, столь тесный в эти великие дни асфальт, она коротко бросала:

– Назад! Цурюк!

Тем не менее какая-то группа немецких вояк прорвалась к регулировщице и окружила её, повторив свою просьбу.

– Идите, куда хотите! – крикнула она им, и я это слышал. Её голос прозвучал звонко, но грозно и властно. – Да убирайтесь же вон с дороги! – не стерпела девушка и, топнув блистательно начищенным сапожком, пропустила вперёд вереницу наших пушек.

До сих пор жалею, что не прорвался поближе к ней со своим журналистским блокнотом. Мне так хотелось спросить её:

– Как Ваша фамилия, товарищ ефрейтор? Скажите мне! Это так важно для всех нас, для всех, кто будет жить после нас! Ответьте, пожалуйста!

До *сих пор мечтаю о таком памятнике – памятнике русской девушке-регулировщице.* Такой памятник сказал бы современникам и потомкам не меньше, чем памятник в честь солдат-освободителей.

… Над Эльбой алел рассвет. Весело пробуждались мои друзья, воодушевленные крылатой вестью – *Победой*!

И тут я увидел… бабочку! Впервые за все дни войны. Она пролетела надо мной именно утром на рассвете нашей Победы и была так прекрасна, как может быть прекрасна только жизнь.

А *на той стороне Эльбы* уже сердито и недовольно фырчали, разворачиваясь, американские джипы…

Берлин – Ленинград – Москва 1945–1978

Н.Н. Сотников. На пороге новых испытаний. Послесловие сына спустя 70 лет

Н. Н. Сотников

А потом была встреча на Эльбе, совсем не такая, как её изобразили в одноимённом фильме и уж совсем не такая, какой её представлял себе Евг. Евтушенко в песне «Хотят ли русские войны?»: *«…кто нас на Эльбе обнимал».* Объятий чего-то не припоминалось! Зато вскоре последовали категорические приказы избегать всяческих контактов: американцы имели в своих руках наркотики, не брезговали порнографией самого дурного пошиба (пожалуй, немецкая была даже «мягче»), началась безудержная торговля! Американцы торговали всем, чем только можно, – от зажигалок до грузовиков! Да-да, и казённые грузовики шли в дело! Ведь это и есть тот самый «американский бизнес», который был у них буквально в крови и который они нам сейчас навязывают в большом и малом.

Были разного рода и чисто политико-идеологические провокации, даже чисто внешне не совместимый с образом «союзника». Сей «светлый» образ угасал буквально на глазах, и по воспоминаниям представителей старших поколений, искушённых в человековедении и обществоведении и наблюдательных, довольно быстро исчез из обихода сразу после завершения войны.

Как это ни странно, но даже сравнительно нейтральные немцы (об оголтелых фашистах речи нет!) лучше относились к нашим военным и гражданским людям, нежели американцы и англичане. Отец всё собирался мне поподробнее описать встречу в Английской военной миссии, на которой они были с моей матерью, военным врачом, но выступавшей в роли супруги писателя, прикомандированного к газете Оккупационных войск, но не успел… Там, у англичан, всё было внешне строже, чопорнее, но неприязнь к России, Советскому Союзу проявлялась тем не менее явно, хотя и не так топорно, как у янки.

А вообще, готовя как редактор сборник военной публицистики *«Огненные годы»* в Лениздате к 40-летию Победы и прочитав *десятки тысяч страниц,* я убедился, что полной картины завершения войны ещё нет. Какому же поколению посчастливится её дописать?..

До сих пор существуют в истории Второй мировой войны не просто «белые пятна», а целые неизведанные материки, образовавшиеся по разным причинам от малоизвестности и разных степеней секретности до сознательного не просто *умалчивания,* а *замалчивания.* Некоторые из них можно исторически оправдать, например, подъём из глубин неведанного подавляющему большинству читателей и зрителей каких-то строк, страниц, а то и глав, которые вредили бы единству бывшего сперва лагеря *социализма,* а затем *социалистического содружества.* Одна из самых мрачных таких глав – рейд польской армии генерала Андерса не в сторону немецких фашистов, а по нашим тылам с выходом к южным границам. Андерсовцы на своём пути вели себя ничем не лучше, чем фашистские оккупанты. Более-менее обстоятельное описание этого рейда-дезертирного бегства можно прочесть в книге английского публициста и историка А. Берта «Россия в войне 1941–1945» (М.: Прогресс, 1967). Эти описания будут куда похлеще, нежели какая-нибудь Катынь в Смоленской области!

Ныне НИКАКИХ причин *для умолчания* и тем более *замалчивания* огненно-трагических страниц Второй мировой нет: все страны показали свое истинное лицо. Теперь уже смело можно сказать, что за исключением (да и то с оговорками!) Сербии *союзников в Европе у нас не осталось.* При Гитлере практически ВСЯ Европа была в его лагере: уточнения требуются лишь для зависимой от Англии, хотя и получившей формальную независимость Ирландии, Исландии, которая и мала, и бесконечно далека. Нейтралитет Швеции можно уверенно оговаривать. Нейтралитет Швейцарии формален и носил откровенно банковский

характер. Даже малютка Лихтеншнейн, как недавно стало известно, сыграл в конце войны зловещую роль, укрыв коварно на своей территории массу изменников СССР.

Надо решительно перестать страшиться язв национальных вопросов, прикрываясь общими словами об интернационализме и горбачёвских «общечеловеках». Например, японцы одержали многие свои победы под лозунгом освобождения азиатов от *«уродов с провалившимися глазами»,* то есть европейцев и вообще, так сказать, белых. И эта пропагандистская нота действовала звучнее многих других нот пропагандистского и дипломатического характера. Об этом мне рассказывал видный японист профессор В. Н. Горегляд. А знаток Индонезии, бывший собкор «Правды» на Юго-Восточную Азию профессор Л. М. Дёмин приводил мне пример постановки в Индонезии переделанной пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор», где Хлестаков был… голландцем среди индонезийцев! Зал неистовствовал, а переживания носили не эстетический, а откровенно политический, психологический характер.

Да и по нашей линии фронтов много ещё таинственного и неизведанного. К примеру сказать, Штаб партизанского движения в Москве не только не контролировал, но и не знал ситуацию, связанную с лжепартизанскими отрядами, псевдопартизанскими отрядами (кто-то просто отсидеться хотел в тишине да покое!), националистическими партизанскими отрядами. Чисто национально однородные формирования были и на нашей стороне, и на вражеской. И то, и другое изучено плохо, и широким кругам неведомо. Небольшие лучики света на эти белые, а во многом и тёмные пятна пролил двухтомник С. Г. Чуева «Спецслужбы III рейха», который я редактировал (СПб.: Издательский Дом «Нева», 2003).

Никак нельзя признать даже удовлетворительными наши знания о взаимодействиях армейцев, войск НКВД, пограничников и гражданских учреждений.

Даже опытные профессиональные журналисты до сих пор путаются в определении функций ТАСС, СОВИНФОРМБЮРО и отдела прессы МИДа. Трофейная служба (её роль огромна!), спецпропаганда на войска и население противника, штрафные подразделения – всё это либо до невероятности упрощено, либо замаскировано, как ремонт дома огромной рекламой из досок!

Я уже не говорю о так называемых трофейных командах, о которых материала (доступного, разумеется) крайне мало, мне лично как пытливому читателю встретились только два: мемуарный фрагмент в книге поэта и публициста Бориса Слуцкого «Записки о войне» (СПб., издательство «ЛОГОС», 2000) и совсем коротенькую автобиографическую справочку фольклориста и критика, моего коллеги по работе в аппарате Правления Ленинградской писательской организации Владимира Бахтина в коллективном сборнике «Ленинградские писатели-фронтовики» (Ленинградское отделение издательства «Советский писатель», 1985). Дело в том, что он был командиром отделения в части, которая занималась сбором и отгрузкой трофейного оружия, а в блокаду – металлолома». ЧАСТЬ – это может быть полк, а может быть и ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН. Только ли оружия?.. Победителям доставались и личные вещи, и письма, и документы, и продовольственные продукты, и медикаменты. Письма и документы, а также печатная продукция сразу же шла в руки спецпропагандистов, разведчиков и сотрудников СМЕРШа.

Ещё более трагедийная история с похоронными командами. О них, как правило – мельком, вскользь. Лично я слышал из уст своего старшего товарища, наставника в издательских делах бывшего заместителя редактора газеты «На страже Родины» Димитрия Васильевича Кормушкина, полковника в отставке, рассказ о том, как его в числе других младших политруков командировали на совещание в Москву (ясно, что отбирали лучших из лучших). Принял их и Михаил Иванович Калинин, который особое внимание уделил проблеме похоронных команд. Кормушкин дословно мне пересказал следующее: «Старайтесь держать эти команды под своим личным наблюдением. По возможности отбирайте в них пожилых и оди-

ноких мужчин, которые ещё в силах. Помните, что бойцу, который идёт вперёд, отнюдь не безразлично отношение к павшим товарищам».

Не ставлю точку – только многоточия! Наша с вами общая задача, историки, публицисты, прежде всего фронтовики-ветераны, знатоки особенностей труда и тыла в Великой Отечественной войне, не теряя драгоценных лет перед лицом новых военных опасностей, восстановить с максимальной полнотой панораму не только вширь, но и вглубь!

Н.Н. Сотников. Ещё одно послесловие сына

В канун 20-летия Победы газета «Вечерняя Москва» обратилась к фронтовикам с вопросом: «ГДЕ ВЫ ВСТРЕТИЛИ ДЕНЬ 9 МАЯ 1945 ГОДА, И ЧЕМ ОН ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ?» Отец ответил на эту краткую анкету а потом, увлекшись, написал коротенький этюд по следам фронтовых журналистских блокнотов. В результате появился короткий очерк *«На рассвете»,* впоследствии напечатанный в журнале «Волга». Готовя к изданию свои фронтовые новеллы и очерки *«Были пламенных лет»,* отец ещё раз обратился к этой теме и написал очерк, который вы только что прочитали. Полностью он печатается впервые.

Об этом Дне, об этих днях мы знаем и выспренние помпезные кинополотна вроде «Падения Берлина» и соответствующей серии «Освобождение», и строгую, точную прозу Э. Казакевича, и до сих пор обжигающие огнём сражений фронтовые очерки, и блистательный фильм Юлии Солнцевой по сценарию Александра Довженко «Повесть пламенных лет», обошедший триумфально весь мир, как и другой шедевр – «Баллада о солдате». Сам я, как редактор, перечитал сотни очерков и тысячи страниц, готовя сборники «*Огненные годы»* (*Публицистика Великой Отечественной войны) «Идёт война народная» (Проза военных лет).* И всё же *именно* так о войне, о Победе, как отец, не писал никто. Говорю это не как сын, а как специалист, исследователь.

И ещё одно. Американцы остановили наше поступательное, стремительное движение на запад. Сила, ускорение, напор, натиск, воодушевление, колоссальная мощь и отточенное до блеска воинское мастерство были так велики, что ещё бы несколько дней – и мы бы могли также вот встретить рассвет не на берегу Эльбы, а на берегу Атлантики! Трудно сказать, как бы сложилась тогда судьба послевоенной Европы и всего мира. А ведь эти вопросы носились в воздухе, обсуждались на разных уровнях и, прямо скажем, особенно секретными не выглядели.

Сейчас, в наши трудные времена наш народ должен помнить, как склонилась перед ним Европа, как мог склониться перед нами весь мир!

Николай Сотников-младший

Н.А. Сотников. «Пишу тебе письмо из Ленинграда». (Из письма Н.А. Сотникова его родной сестре А. А. Ершовой в Кисловодск)

Дорогая Тоничка!

Пишу тебе первое письмо из Ленинграда. Это звучит гордо. Я – на Родине, на родной русской земле после длительных скитаний по чужбине.

Как сложилась моя жизнь после Карлсбада[24]? Там я отдыхал и лечился полтора месяца. Уехал оттуда обновлённым, укрепил нервную систему реже стала болеть голова, появилась энергия…

Документы из Москвы всё ещё не приходили. Предоставилась возможность побывать в Праге, провёл немного времени в Вене. Из Вены снова через Прагу проехал в Саксонию. Был в Лейпциге на открытии Международной ярмарки.

В Берлин попал в День Победы и прямо с вокзала направился на Аллею Побед, где в этот день происходил парад союзнических войск. В тот самый день, когда я появился в Потсдаме, пришёл приказ о моей демобилизации. Неделя ушла на расчёт и сборы. И вот я снова в пути, правда, кружном, но уже ведущем к дому.

…Предстоял большой морской путь через всю почти Балтику, прямо в Ленинград. Волна тихая, сияло солнце… Неделя морского пути прошла, как в сказке, а ведь о железнодорожном пути я даже боялся и подумать! По дороге мы осмотрели столицу Финляндии.

И вот, наконец, показались громады Ленинграда, покинутого мною всего лишь полтора года тому назад, но каким веком явилось это время, целой вечностью!..

Ленинград, 7 июня 1946 года

[24] Карлсбад – ныне Карловы Вары.

Н.А. Сотников. Город на Неве родным был и остался

В Секретариат Правления
Ленинградской писательской организации
Г. К. Холопову[25] и А. Г. Розену[26]

Дорогие товарищи!

Большое спасибо вам за доброе письмо, за приглашение на праздник Ленинградской Победы! С большим удовольствием побываю в городе, который был для меня родным и родным остался навсегда!

Ваше поздравление напомнило мне многое. Все 900 блокадных дней проходили у меня в непрерывных трудах. Видимо, поэтому я и уцелел! Я делал своё дело на переднем крае под Пулковом и Лигово, был политинформатором, военкором, одновременно вел агитбригады в 4-й и 13-й стрелковых дивизиях. Вместе с режиссёром Морщихиным мы создали ансамбль 42-й армии, который звонко распевал нашу песню «*Вперёд\ сорок вторая, в году сорок втором!».* Мы собирали по всему городу музыкантов и вокалистов (все они были профессионалами), ставили на красноармейский паёк, и люди оживали! В них пробуждались энергия, воля, вера в победу!

Довелось мне продолжить и довоенную работу как кинодокументалисту, в частности, мы с режиссёром Якушевым сделали фильм «Снайперы», а с режиссёром Соловцевым – «Прорыв блокады».

Был ранен, контужен, стал инвалидом III группы, но по мере сил и возможностей оставался в строю, работал даже в госпитальной палате, а затем после некоторой поправки – в Ленинградском отделении издательства Воениздат. А затем – Первый Белорусский фронт, Берлинская операция, журналистская и архивная работа после окончания войны…

В настоящее время работаю над циклом блокадных очерков и над циклом «Памятные встречи» о довоенном Ленинграде, о котором думаю неизменно все эти годы. Такого культурного феномена, как довоенный Ленинград, в истории ещё не было! До встречи, друзья! С наступающим Новым годом!

Уважающий вас Николай Сотников.

27 *декабря 1973 года*

---

[25] Г. К. Холопов – прозаик, очеркист, главный редактор журнала «Звезда», в тот период – Первый Секретарь Правления Ленинградской писательской организации.

[26] А. Г. Розен – прозаик, очеркист, киносценарист, председатель Комиссии по военной литературе, в ту пору – председатель оргкомитета по празднованию 40-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Н. Н. Сотников, в ту пору литературный консультант по общим и организационным вопросам Правления Ленинградской писательской организации, был референтом Комиссии по военной литературе и вёл всю основную работу по подготовке празднования 40-летия снятия блокады. Таким образом, официально сын-ленинградец приглашал своего отца, ветерана боёв за Ленинград, на торжества, посвящённые празднику. И, добавим, получил от него немало замечаний за разного рода недоделки и упущения в работе. Так что *и здесь, и так* продолжалась литературная учёба.

Николай Ударов. Песня о Московских воротах

Откройтесь мне, Московский ворота!
Вы и во тьме души моей видны.
Здесь шла граница города и фронта.
Здесь шла граница мира и войны.
Вновь – артобстрелы, авианалёты,
но не пройдёт нигде нога врага.
Московские рубежные ворота,
где даже тишина – и то строга!..
От прошлого до наших дней – не про́пасть
и не ночной огонь в чужом окне.
Здесь я как будто предъявляю пропуск —
стихи мои о мире и войне.
Передний край. И вновь – передовая.
Родной блиндаж. И первый эшелон.
И вновь во всём – история живая
и неразрывный путь времён.

Николай Ударов. Победы ровесник, сын века ровесника

Столетие своё не встретить мне,
но я столетие отца встречаю.
В единственной своей стране
я дожил до него, на счастье,
хотя уже немало раз
небытия на грани был я,
хотя небытия стрела
почти у сердца проносилась,
но я пока что успевал
во времени да и в пространстве
уйти и, накопив слова,
на каждый новый бой собраться.
Мой личный век – не век совсем.
Он где-то рядом, но короче…
Успеть бы песен и поэм
чистовикам доверить строчки!
Ровесник века – мой отец,
А я – Победы нашей майской,
но отблеск на моём лице
костров *Дворцовой* и *Сенатской*,
огней последних баррикад
Коммуны праведной парижской.
Всех праведных боёв века,
в *Октябрь* и в *Май*
во мне сошлись вы!
От запорожских казаков
приняв малиновое знамя,[27]
веду свои отряды слов,
грядущие победы зная!

[27] Боевое знамя Запорожской Сечи было малинового цвета, а посередине стяга красовалась боевая ладья, ЧАЙКА, запорожский десантный корабль.

Н.А. Сотников. Памятные встречи на дорогах судьбы. Очерки, стенограмма беседы, творческий портрет, этюд

Виктории полтавской юбилей

Три было у меня устных рассказа, которые всё никак не превращались в очерки из цикла *«Памятные встречи».* О чём они? На это самое «о» в литературе ответить крайне сложно! Ну для простоты, в рабочем, так сказать порядке, темы условно обозначить можно так: о том, как я видел последнего русского царя и его фамилию, о том, как я в годы блокады Ленинграда получил спецзадание написать сценарий и провести всю работу от «А» до «Я» над документальным фильмом о сборе средств ленинградскими верующими на танковую колонну имени Дмитрия Донского и эскадрилью имени Александра Невского и посему имел весьма необычного консультанта и во многом организатора съёмок – митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Симанского); о том, как я делал по заказу Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР документальный и одновременно научно-популярный фильм «Буддисты в СССР» и на сей раз в резиденции главы буддизма в СССР в посёлке Иволга под Улан-Удэ встречался с бандидо-хаба-ламой Еши Доржи Шараповым. Всё это такая экзотика (да к тому же всё увидено своими глазами и услышано своими ушами!), что эти устные мои рассказы слушали буквально «взахлёб». Правда, кое-кто сомневался, не верил, многократно переспрашивал, стараясь тщательно выведать, где проходит граница между правдой и вымыслом. Я клялся слушателям, а теперь клянусь и тебе, читатель, что вымысла не было. Но не было, конечно, и протокольного занудства, канцелярской описательности. А вот вдохновение было всегда! Если бы не вдохновение, то я бы вообще не взялся бы за свои *«Памятные встречи».*

Однако почему же именно эти три устных рассказа так долго не ложились на бумагу?

Об экзотичности я уже сказал. Но это особого рода экзотичность. События, со мною происходившие, все были на грани правдоподобия. Поразительна жизнь и деяние в сфере научной и литературной народовольца академика Николая Александровича Морозова, но моё с ним знакомство носило довольно обычный характер, двери у него, конечно, нараспашку открыты не были, но нелюдимым его назвать тоже нельзя! Представителей знаменитой династии Дуровых я видел на арене, с Юрием Владимировичем дружил, его дочку – дрессировщицу и писательницу Наталью знал с детства. Редкая, разумеется, профессия (даже факультета и отделения такого «дрессировочного» в цирковом училище нет), но я так давно знаю мир цирка (и кулис, и арены), что мне в этом ничего экзотического не видится. С тигроловами Богачёвыми в посёлке под Хабаровском беседовал запросто, как со многими своими героями очерков, творческих портретов, документальных и научно-популярных кинофильмов. Иллариона Певцова видел на театральной сцене и на киноэкране, знакомствовал с ним как театральный критик…

А тут совсем иное дело! Существовало и некое табу на такого рода воспоминания. Высшие лица в православии (ведь Алексий стал патриархом Московским и всея Руси) и в буддизме были очень труднодоступны. Увидеть их ещё удавалось. С большими (если не сказать – с огромными!) трудностями согласие на официальную беседу по делам кинематографическим, в которых они были оба крайне заинтересованы, получить оказалось возможным. Но добиться откровенного, простого, светского (не в смысле утончённости и пиетета, а в плане содержания) разговора? Это уже казалось всем моим слушателям фантастикой.

А где фантастика, там сказки и легенды! Задуманные же мною очерки из цикла *«Памятные встречи»* должны быть строго документальными. Таков был мой замысел, и я не хотел от него отступать.

И всё-таки я решился написать эти три очерка! Начал с царя. Почему? Меня как читателя очень заинтересовала документальная повесть М. К. Касвинова «Двадцать три ступени вниз», напечатанная в журнале «Звезда»[28]. Бывал я и на встречах писателей с историками, которые часто проходили в залах Центрального дома литераторов. Все наши гости-историки так или иначе касались в своих лекциях и в ответах на вопросы из зала самодержавия в России, династии Романовых, характера и образа последнего самодержца… После таких встреч непременно в писательской среде завязывались бурные споры, дискуссии, особенно, когда мы, после лекций переходили в *дубовый зал.* Для непосвящённых скажу просто, что это теперь цедеэловское название *ресторана.* Зал действительно дубовый. На моей памяти он был и конференц-залом, и местом митингов, и горьким местом прощаний с ушедшими навсегда друзьями. И вот дружескими компаниями за столиками мы продолжали вести исторические беседы. Кто-то прикидывал, какие исторические темы могут быть лично ему как автору полезны и интересны, кто-то (как правило, критик, теоретик) уже словно обкатывал будущую статью или главу из монографии об исторической теме в литературе, театре и кино. А я просто и простодушно заявлял, что лично видал царя и катался на велосипедах с его дочерьми!

Теоретические споры и практические прикидки, что и как написать, затухали, и все с открытыми ртами слушали рассказ о том, что мог видеть мальчишка из рабочей семьи в 1909 году в Диканьке близ Полтавы.

Рассказ мой был простым, бесхитростным, не побоюсь сказать – простодушным: ведь я старался поведать о впечатлениях, запавших в душу *девятилетнего* мальчишки. Однако эффект был поразительным! Как правило, самые заядлые спорщики умолкали и после моего рассказа либо переходили к другим темам, либо наступала долгая пауза.

Думаю, что главную роль играл *эффект достоверности.* Перед слушателями проходили неизвестные страницы минувшего, от которых не оставалось живого следа. Всё сгорело в пламени. Официальная историография и до революции и после давала информацию иначе: первая рассыпалась в любезности, вторая клеймила, жгла, разила и негодовала.

Я тоже негодую. Меня никак нельзя упрекнуть в монархизме. Подобный упрёк меня бы не разозлил, а рассмешил. Мне хочется показать, как что было, на самом деле, без прикрас. А многое в обыденной, повседневной жизни было и прекрасным, и волнующим и вовсе не нуждалось в том, чтобы смести его с лица земли. Например, – дивный парк вокруг дворца Кочубея в Диканьке. Вы в этом сейчас убедитесь.

И ещё одна оговорка. Повторяю, мне было всего лишь девять лет. Теперь я прекрасно понимаю, что это значительно больше того, что такое современный аналогичный возраст. Но и делать ребёнка пророком тоже не стану. Тот мальчишка запомнил всё очень хорошо. В чём-то он был удивлённым, озорным, немного бесшабашным, общительным, приветливым, довольно для своего возраста начитанным, любящим легенды и поверья, предания и сказки родной Полтавщины. Однако местничеством этот мальчишка не страдал. Он ещё не очень себе представлял, что такое Украина в целом, но Россию знал не только по карте – недаром вырос в семье железнодорожника, деповского токаря! Сколько славных рассказов я от друзей отца о российских просторах слышал! С бывалым железнодорожником поговорить порою не менее интересно, чем со старым моряком. А к беседам в нашем доме всё располагало: и уют, и отцовское и материнское гостеприимство, и уединённость на окраине Полтавы

[28] См.: Журнал «Звезда», 1972; № 8–9; 1973; № 7-10; а также отдельные издания издательства «Мысль»; 1979,1982; 1987; 1989 годы.

нашей маленькой усадебки с садиком и огородом, и трезвый характер нашего застолья. Мать моя, Васса Григорьевна, была кулинарка отменная, сочетавшая в своих познаниях кухню украинскую и русскую. Сама она из русской семьи, вышла замуж за украинца, привыкала долго ко всему, однажды даже вызвала гнев свекрови тем, что в самоваре яйца сварила – спешила отцу в дорогу снеди собрать. Сама она из мещан, крестьян недавних, а отец мой – рабочий в первом поколении, все в прошлом в его роду украинские крестьяне, до отмены крепостного права – и крепостные. Что правда, то правда, хотя очень горькая. Так от 1861 года до времени Екатерины Второй, которую на Украине «вражьей жинкой» прозвали за то, что потомков славных запорожцев в рабство обратила. Об этом и в думах сказано, и в песнях, и в сказаниях. Зато запорожские века – вечная наша гордость! У нас в семье очень те времена и люди почитались. Вот тот вольный казацкий запорожский дух помножился на пролетарскую солидарность и сознательность, и привёл моего отца в ряды активных участников горловских событий 1905 года. И я никогда не забуду, как казаки, только другие во всём – донские, плетьми отца и товарищей его терзали и меня, малолетку, пикой сбросили с моста! За веру, царя и отечество!

По мосту шагом двигались три «донца-молодца»[29]. Завидев молодую женщину, мою бабушку Вассу Григорьевну, которая в корзинке несла обед в депо моему отцу Афанасию Григорьевичу, и пятилетнего мальчонка в белой рубашонке, они с типично разбойным гиканьем и свистом подскочили к нам, один из донцов поддел пикой малыша за рубашонку и, раскрутив в воздухе, швырнул в обмелевшую речку на камни. Рубашонка сразу покраснела от крови, и моя бабушка ринулась к берегу спасать сына. Рядом стирали и полоскали белье украинки и русские женщины. Они, не жалея белоснежного своего белья, обмыли мальчонке раны и перевязали его быстро и умело. Когда Васса Григорьевна к ним подбежала, они вручили ей сына, который ещё не пришёл в сознание.

… Жили мы в Полтаве, а гоголевская Диканька – то совсем рядом – утром выехал даже на волах и к вечеру на месте. А на резвых конях и того быстрее! В Диканьке жила отцовская родня, разнообразная и многочисленная. Все крестьянами и ремесленниками были: кто бондарь, кто пасечник, кто в коновалы вышел, а двоюродный мой дед Григорий – в личные повара самого князя Кочубея[30].

Как мы к Кочубеям относились? Безо всякого подобострастия, по-деловому, можно сказать. Последних Кочубеев уважали за хозяйственность, за размах в делах, за вкус к красоте. Потомков Кочубея, особенно того самого Кочубея, кто вместе с половником Искрой смерть от Мазепы, предателя, принял, прямо скажу – боготворили. О самом (том!) Кочубее рассказов не помню, но про Искру так старики говорили, что он хоть и полковник, но казацкий, запорожский духом, прямо народный герой.

Память о предке и его отважном товарище хранили и последние Кочубеи. В вестибюле дворца под стеклянным овальным колпаком (он внешне напоминал овальные колпаки из оргстекла в уличных таксофонах) как драгоценнейшие реликвии хранились рубахи Кочубея и Искры с тёмными пятнами крови. В благоговейном молчании и с поклоном проходили хозяева и гости мимо родовой святыни.

---

[29] … Летом 1973 года в Ленинград прибыла делегация писателей Ростова-на-Дону. Хулиганство началось уже в аэропорту Пулково: в дымину пьяный казачище-дончище заорал в знак приветствия донской гимн: *«Мы, донцы-молодцы, царю верно служим!»* Члены нашей писательской делегации были в шоке. Больше всех переживал я, так как являлся ответственным за всё мероприятие в целом и в частностях. Один из руководителей города, приехавший встретить посланцев «Тихого» Дона, спросил меня, что я собираюсь делать и нужна ли его помощь, на что я ответил, что «я с ними сам разберусь». И разобрался… Акак – секрет. У нас в литературе – всё в секретах. И именно в эти самые мгновения в Пулково я вспомнил рассказ отца, на которого с пикой ринулся «донец».

[30] Имеется в виду Виктор Сергеевич Кочубей, начальник Главного управления уделов, свиты царской генерал-майор. В Петербурге в 10-е годы XX века жил в особняке по адресу: Фурштатская (улица Петра Лаврова), дом 24. В последний раз его видели в ещё белом Крыму, накануне бегства беляков.

«А откуда же ты, крестьянский внук и пролетарский сын, об этом знаешь?» – спросит меня читатель. А всё дед Григорий. Он меня во дворец проводить мог не раз, многие помещения кроме личных княжеских покоев показывал, усадьбу почти всю с хозяйственными пристройками. Так что я во дворце и в окрестностях довольно свободно ориентировался. Очень я многие годы спустя (а ведь я с юности в Полтаве больше не был, не довелось!) опечалился, узнав, что усадьба погибла, дворец почти разрушен. Но ещё больше огорчился, узнав, что не одна война виной, а и сами диканьковцы! Самых бедных из них, конечно, понять можно – тут и нехватка самого необходимого, и лютая классовая ненависть, но те старики, которых я знал и помню до сих пор, как хранители истории такие действия не одобрили бы. Отличный мог бы музей получиться! И хозяйственные постройки и заведения добрую службу могли бы сослужить. К тому же места-то самые что ни на есть гоголевские! И музей мог бы быть не только историко-краеведческим, но и литературным.

«А как же охранялся дворец?» Насколько я помню, никак. То есть у ворот всегда были привратники, вблизи работали садовники, слуги, ухаживающие за дикими животными, свободно и спокойно разгуливавшими по дорожкам, по траве… Во всяком случае, жандармов или полицейских я не припомню. Разумеется, крестьяне по усадьбе не разгуливали. Парка культуры и отдыха там не было, но по делам «к Кочубеям», как говорилось, захаживали. Не к самим лично членам княжеской семьи, а к слугам, управляющему. Получали какие-то заказы, спрашивали о работе, выступали посредниками в каких-то мелких сделках. Ведь Кочубеи, свято сохранив *«преданья старины глубокой»,* являясь в ряду первых лиц при дворе, одними, вероятно, из первых поставили сопутствующие усадебному хозяйству предприятия на промышленную, капиталистическую основу. Всего я, конечно, не припомню, не назову, но о пивоваренном заводе речь в Диканьке постоянно шла. Были винодельческое производство, оранжереи, парники, животноводческие фермы. К ним примыкали покосы, пахотные поля, другие угодья. Требовалась тара, нужен был транспорт. Таким образом, выражаясь современным языком, был у Кочубеев довольно крепкий и по-своему образцовый и изысканный агропромышленный комплекс с очень продуманными и разветвлёнными внутренними и внешними хозяйственными связями.

Разумеется, все нити сходились к управляющему, но и сам старый князь по должности своей – ни много, ни мало Главнокомандующий уделами, то есть

ЛИЧНОЙ собственностью царя, в хозяйственные дела вникал. Во многом это было продолжение его, в шутку скажем, «штатной работы» на личном подворье. Могу себе представить, что какие-то дела финансовые и хозяйственные личные перекликались и взаимопересекались с делами царскими и государственными. Богатства были несметные! А вот судя по воспоминаниям ленинградского прозаика и краеведа Льва Успенского, в Петербурге Кочубей внешне, во всяком случае, богатства своего не выказывал. В книге *«Записки старого петербуржца»* Лев Успенский, в частности, пишет, что у Кочубея неважный выезд, лошади вовсе не смотрелись – клячи какие-то! Может быть, это был определённый маскарад?.. Пушкинские слова о том, знаменитом Кочубее, *«богат и славен Кочубей»* можно вполне адресовать и к Кочубею последнему. В Диканьке кони его были на загляденье! Прямо какие-то сказочные кони из книг о богатырях и витязях.

Я уже говорил о том, что книги в нашем доме превыше всего почитались. И читались не в пример многим моим знакомым, нынешним, которые золочёные тома дорогих изданий не берут в руки, а используются как декор на полках и стеллажах. Прочитанным мы постоянно обменивались, прочитанное обсуждали. Родители мои постоянно следили за кругом чтения моего и моей сестры младшей Тони. До сих пор помнится мне такой эпизод. Отец, увидев, что я «Принца и нищего» дочитываю, подошёл и говорит: «Обратил внимание на то, какое право даровал король своему близнецу? Он его объявил своим другом и разрешил сидеть в

его присутствии и быть при нём в шляпе. Такие же права, я слышал, есть и у последнего Кочубея».

И наконец, последний аккорд перед главной сценой очерка моей детской памяти.

Отец мечтал, чтобы я стал железнодорожным инженером, но для этого необходимо получить среднее образование. Значит – реальное училище. В Полтаве оно славилось и своими педагогами.

Первые месяцы учёбы я был как во сне. Всё было новое, всё удивляло, тревожило, вдохновляло. Потом романтический туман рассеялся, и я стал пристальнее вглядываться в лица учеников и учителей. Из семьи рабочих был *только я* \ Было ещё несколько мальчишек из семей богатых крестьян, по сути уже не крестьян в собственном смысле слова, а скорее – перекупщиков. Далее шли группы ремесленников, мелких торговцев, мелких служащих. Были среди нас и дворяне. Как я потом понял – по причине их органической неспособности к изучению древних языков и вообще желанию получить знания более практичные. Романтические грёзы в стенах реального училища не витали. На то оно и было *реальным.*

Реальным было имущественное, и сословное расслоение. *Я в* этой среде себе не нашёл ни друзей, ни даже товарищей. У меня дома никто из одноклассников не был, ни к кому не ходил и я. У педагогов и директора мы были по обязанности: обычай колядования сохранился и позволил нам заглянуть в святая святых – в учительские квартиры, в директорский особняк. На праздничных столах возвышались традиционные праздничные гуси с антоновскими яблоками, в квартирах было довольно просторно, чисто и уютно, паркетные полы сияли, в печках трещали хорошие сухие дрова. Нас приветливо, но сухо благодарили, одаривали простенькими лакомствами и отпускали восвояси, и мы возвращались в свои дома. У нас тоже было чисто, по-своему уютно, но пол был дощатый, в печи топилось что придётся, гуся на столе не было. На его месте стояла простая, но вкусная материнская снедь. Обычный пролетарский быт, почти полностью лишённый и какой бы то ни было национальной специфической окраски. Так по всей России на окраинах городов уездных и губернских жили квалифицированные рабочие. Другое дело – Диканька! Там отец редко говорил по-русски и в своей белой рубахе с пояском очень походил на запорожского казака со знаменитой картины Репина.

Праздником были беседы в родном кругу, покой, тишина и чтение. Об уроках говорилось мало. Подгонять, заставлять их учить меня не надо было, и учился я хорошо. Четвёрки попадались, но преобладали пятёрки. Сейчас оглядываясь на те годы, я думаю, что от чрезмерной загрузки была и какая-то польза, ибо не находилось места безделью. Работали кружки – духовных инструментов, народных инструментов, в реальном училище действовал свой театр, в котором я с удовольствием переиграл многие роли. Например, в гоголевском «Ревизоре» я Добчинского играл. Говорили – довольно смешно! Но это – уже в старших классах. В целом же надзор был строгим, пристальным, в центре Полтавы всегда можно было попасться на глаза инспекторам. А на нашей рабочей окраине – другое дело. В депо инспекторы не заглядывали, по нашим лачугам не ходили. А вот в состоятельные дома заглядывали, не отказывались и от хлебосольства. Удивительное это было время, и в удивительном месте я рос! Патриархальное соседствовало с новым, а то и новейшим. Город был недалеко от села. Крепостное время у многих было на памяти. А тут того гляди грянет *юбилей Полтавской битвы.* О том, что это двухсотлетие будет широко отмечаться, говорилось повсюду. В училище даже для младших классов были проведены дополнительные уроки. О гибельных делах в русско-японской войне не вспоминалось. Зато седая древность превозносилась на все лады. Ближе к лету заговорили о том, что приедет царь, вместе с ним будут двор и дипломатический корпус. Торжественный въезд мне посмотреть не довелось, но от старших я слышал, что такому большому числу почётных гостей высшего ранга достойного

помещения в губернском городе найти не смогли. И тогда всех в гости к себе пригласил Кочубей. Всех, в том числе и царя с семьей и ближайшими слугами.

Сказать, что в связи с торжествами в городе резко увеличилось число жандармов, я не могу. Возможно, существовали какие-то переодетые агенты, что-то делалось незаметно, но губернаторский дом как один жандарм охранял, так и продолжал охранять, а у входа в усадьбу Кочубея появилось два часовых. Вот и все внешние перемены. Правда, заметную роль во владениях Кочубея стали играть привезенные из Петербурга царские слуги. Одному из них я обязан знакомством с великими княжнами, царскими дочерьми. Вероятно, это был чиновник министерства двора высокого ранга. Одного его взгляда было достаточно для того, чтобы десятки слуг рангом помельче приходили в движение.

В тот день, встретив меня утром у входа в усадьбу, дед Григорий важно и довольно глядел на меня (я приехал на первые в жизни каникулы в форме реалиста, хотя и жарковато было) и торжественно произнес: «Приходи ко мне часам к пяти, внучек, я тебя по-царски накормлю. У князя весь двор в гостях и царь со своим семейством. Вот я и стараюсь. Мне князь сказал: “Григорий! Ты повар отменный! Даю тебе полный простор, но кушанья сам все попробую!” Я на кухне со своими хлопцами теперь днюю и ночую…».

В пять часов подошёл я к воротам. Поклонился, поздоровался, сказал, что иду к повару его сиятельства. Часовые переглянулись, а тут как раз к воротам главный слуга (или как там его по рангу?) шествует. Увидев меня, отозвал одного из часовых, что-то ему сказал, а сам ко мне с расспросами, что я из себя представляю, где учусь, сколько мне лет. И вдруг спрашивает, умею ли я на велосипеде кататься. «Умею», – отвечаю. Вижу улыбку благосклонную: «Будешь сопровождать великих княгинь в велосипедной прогулке. Сейчас я тебя им предоставлю и велю подать велосипед по росту». Научился я кататься на велосипеде, конечно же, в цирке в прошлом году. Да ещё на каком – высоком трёхколёсном, для трюков. Так что простой велосипед для меня был простой забавой.

Возвращается часовой, что-то главному слуге докладывает. Тот, видимо, удовлетворён остался, кивнул головой и небрежно ему рукой повелел на пост вернуться. Часовой отдал честь и вновь встал у ворот. Смотрю, какой-то царский слуга ведёт маленький, весь горящий на солнце велосипед, подводит ко мне и предлагает испытать машину. Я сажусь, делаю несколько маленьких кругов, ловко соскакиваю, как меня в цирке учили, и кланяюсь почтеннейшей публике.

Вижу, что придворные слуги удовлетворены моим испытанием и, вероятно, какой-то информацией обо мне. Меня жестом зовут за собой, и мы входим в парк.

Боже мой, какое это было диво! До сих пор этот парк-сад у меня перед глазами в лучах вечернего солнца. Розовые кусты, диковинные растения, тень сочетается со светом, цвет с цветом, у каждой дорожки свой рельеф, свои пути, повороты, а на газонах пасутся пятнистые олени, гуляют павлины, какие-то диковинные птицы щебечут на деревьях… И весь этот рай в двух шагах от села, не самого бедного на Украине, не самого богатого, но уж, наверняка, самого знаменитого села, в котором откровенной нищеты нет, но бедность приукрашена солнцем щедрым, природой, гоголевскими красками.

Главный слуга подходит к каким-то девчонкам, что-то им говорит, показывает на меня, они улыбаются. Другие слуги девчонкам дамские велосипеды подкатывают. Потом меня за локоток главный к ним подводит, представляет как потомка казаков, потомственного жителя Диканьки, внука любимого слуги-повара его сиятельства князя Кочубея и объявляет меня знатоком (?) парка.

Итак, я выступаю в роли сопровождающего и в какой-то степени гида. Работа в цирке приучила меня не тушеваться, не бояться спектаклей. А это ведь несомненно был маленький спектакль, который я хотел провести достойно для себя и для нашего казацкого рода. Вскакиваю на велосипед, делаю круг вокруг их высочеств и предлагаю следовать за мной. Едем

тихо. Это не цирковая арена! Я обращаю внимание «дам» на красоты парка, даю несколько сведений исторического характера, но так – между прочим, неназойливо. Парк большой, великим княжнам прогулка нравится, и мы несколько раз объезжаем основные парковые красоты. Наконец, поворачиваем ко дворцу. Такого задания мне дано не было, но я понял, что долго наше путешествие продолжаться не может. Подкатываем к парадному входу. Я проезжаю несколько быстрее, отрываюсь от моих спутниц и останавливаюсь ближе к знакомой мне двери, ведущей вглубь дворца – там-то ходы к деду Григорию на кухню я найду. Царские дочери останавливаются, о чем-то беседуют, смеются. У них берут велосипеды и откатывают их в сторону.

На крыльце появляется какой-то офицер с бородкой, за ним выходит крепкий русский матрос, держа на руках мальчика. Офицер что-то говорит ребенку, отходит в сторону, всматривается вглубь парка, чешет рукой бородку. *Я в* свою очередь всматриваюсь в него и… узнаю. Это Николай Второй, портрет которого висит у нас в актовом зале. Да, да именно царь, собственной персоной! Вид у него какой-то не царский, не боевой, а манерами своими он походит на одного знакомого мне кондуктора станции Полтава. Ничего величественного, державного… Постоял и ушёл, сделав знак рукой матросу – видимо, прохладно для ребенка. Вечер действительно свежий. Дочери царские ушли во дворец, а я с черного хода к деду Григорию направился, сдав велосипед какому-то слуге.

Дед со своей развесёлой поварской командой встретил меня как Петр Первый Меньшикова после удачной баталии: «Молодец! Не посрамил роду казацкого!». Меня наперебой стали спрашивать, что было да как. Я отвечал охотно, но рассказывать-то было особенно нечего. А ведь и правда, что особенно – ну покатался на велосипедах с девчонками, которые постарше меня, показал им парк, обратил внимание на красоты. Мой ответ деду Григорию понравился. Больше он ничего не говорил и не спрашивал, а всё меня разными блюдами понемножку угощал, о каждом рассказывал. Я думаю, что дед Григорий с его самообразованием мог бы лекции читать в современном институте легкой промышленности по специальности *«технология продовольственных товаров».* Действительно самородок! Говорят, и царь, и двор, и дипкорпус угощениями его довольны остались, за хлебосольство князя-хозяина благодарили, славили его умение и имение. А ему только этого и надо.

А меня дед Григорий проводил до ворот, рукой помахал. Я долго в этот вечер в хате, набитой родичами, сидел, рассказывал, слушал. Мне хотя и было-то всего девять лет (да девяти-то и не исполнилось – у меня день рождения в октябре!), но я был впервые со старшими как бы на равных. О казацкой старине говорили, о войне минувшей, о полтавской баталии, о недавних революционных событиях… Не было ни у кого, ни почитания самодержца, ни умиления его приездом. Петра Первого скупо, по-казацки, добрым словом вспоминали, Екатерину Вторую так ругали[31], что мне велели уши затыкать в прямом смысле слова, в общем сами по себе были: вблизи от дворца и в то же время страшно от него далеко.

В тот день я не знал, не ведал, что пройдет десять лет, и я, молодой боец бригады Котовского, промчусь по украинским степям, по старым казацким путям за красным знаменем. А у наших предков запорожцев боевое знамя тоже было красных цветов – только не алое, не бордовое, а *малиновое.* Не знал, не ведал, что буду рассказывать своим бойцам и раненым как комиссар санпоезда о казацкой старине, о своём детстве, о рабочих Полтавы, о первой русской революции, участником которой был мой отец, о том, как я, учащийся реального училища второго класса, во время летних каникул в легендарном гоголевском селе Диканька праздновал Виктории Полтавской юбилей.

---

[31] Не забыли мои давние родичи и их друзья-соседи о повелении Екатерины II закрепостить крестьян Киевского, Черниговского и Новгород-Северского наместничеств в 1783 году

1969–1978

Как я стал котовцем

О Григории Ивановиче Котовском мне говорили, что он величественный как полководец. Рядом с Котовским сам черт не брат. Каким я его первый раз увидел? Был он высокий, ладный, подтянутый, стройный. Гимнастерка на нём светло-серая, словно специально пригнана, брюки слегка отутюжены, красного цвета. Красной была и фуражка.

Каждый день он пудовыми гирями упражнялся, «крестился ими», как говорили бойцы. Обливался ледяной водой, не курил, не пил. Зато очень любил молоко, овощи, фрукты. В разговоре слегка заикался, даже когда командовал: «По-вод!» Коней просто обожал. Подберёт себе лошадь, снимет шпоры, если почувствует, что лошадь щекотки боится, и несколько дней только на ней и гарцует. Потом другого коня объезжать начинает. О лошадях всегда заботился. Помню, как отругал одного бойца за то, что тот коней на солнцепёке держит:

– Давай лошадей в рощу, в тенёк!

Перед водопоем сам лично обязательно пробы воды брал. За кормом следил.

У него конь один был, рыжий. Такой аккуратный – даже косточки выплёвывал, когда вишнями угощался!

Мне Котовский при первой встрече так сказал:

– Иди в пеший полк, раз у тебя коня нет.

А порой решал спорные вопросы так: приказывал бойцу-претенденту на неосёдланного коня сесть, коня легонько хлестанёт, конь взовьётся. Упал – ступай в пехоту. Удержался – твой конь!

Забегая вперёд, скажу, что и младшие командиры на подобный манер бойцов тренировали. Мой наставник, например, учил меня без седла прижимать ляжками к бокам коня царские пятаки. Упал хоть один пятак на землю – плохо, оба упали – очень плохо, сам упал – считай, погиб. Так он нас к боям, к ранениям готовил.

Спрашиваю Котовского:

– А где же мне коня взять, тем более боевого?

– В бою, – отвечает. – И оружие – тоже в бою. Так лучше будет и для тебя, и для всего нашего войска.

Скажете – суров непомерно? А я не соглашусь. Он тут же мог и пошутить, и забавную и в то же время поучительную историю рассказать. А вечерами, представьте себе, хороводы водил! Вообще он был очень музыкальным. Играл на кларнете и, как я помню, довольно умело, вдохновенно и радостно.

… А обстановка на фронтах в ту пору становилась всё напряжённее. Бригада Котовского выходила из кольца окружения, а вся Южная группа Якира отходила от Одессы. Долго мы шли, помнится. Наконец встали на отдых в селе. Я направился к штабному домику. Два рослых конника стояли навытяжку у бригадного знамени. Пропустили они меня к комбригу без препятствий. Вхожу и вижу – Котовский с командирами и начальниками штабов сидят, пьют чай с мёдом и яблоки грызут.

– А, реалист?.. – узнал он меня, запомнил, видать, как я к нему в фуражке реального училища явился. – Откуда в таком виде?

А вид у меня действительно был не очень-то строевой.

– Из белого плена бежал.

– Подробности потом расскажешь. А сейчас иди, отходи в обоз. Будешь пока в комендантском взводе. Штаб наш охранять. Ты ведь теперь, после плена, по белякам специалист большой.

Я сперва на шутку обиделся, а потом понял – а ведь он мне верит, во взвод охраны штаба переводит, хоть я из плена.

Отправилась в обоз. Поел немного, умылся и завалился спать под телегу. Сквозь сон слышу – трубят. Подъём! Сбор. Смотрю – все наши из комендантского взвода – по коням и рысью! У командира нового спрашиваю:

– А мне куда?

– А вот давай на этой телеге, как на танке!

Гляжу – не лошадь, а кляча настоящая. И поклажа далеко не самая боевая: хозинвентарь всякий. Но делать нечего – догонять наших надо!

Атака котовцев шла с холма в долину. Неслись мы по гати, кто-то, срываясь с крутого берега, уже оказался в болоте. Соскакиваю я с телеги и тотчас же проваливаюсь в болото. Стою в жиже болотной чуть ли не по пояс. Вдруг кто-то мне шашку в ножнах подаёт – держись, мол, вытащу. Гляжу – наш взводный. Хитро так подмигивает.

– Инвентарь цел?

– Цел, – отвечаю.

– Давай, правь к тому пригорку (а сам спешился и коню моему помогает). Коня привяжи – ив цепи, принимай боевое крещение.

В том бою завладел я и конём вражеским, и шашкой. Так был дважды крещён: и как пехотинец, и как конник.

Весь бой далеко впереди себя видел наше знамя и знал – ведёт его Котовский. А с ним и воевать, и жить легче. Жаль, недолго я под его началом воевал! После контузии в одном из боёв пристал к полку Григорьева и с ним дошёл до Житомира. В боях, конечно! О марше обычном и речи быть не могло. А там у самого города упал в бою и не встал. Очнулся в госпитале. Так начался мой госпитальный, а затем и комиссарский путь на санпоезде по Украине. Впрочем, это уже другая глава из моей жизни.

1971–1978

Н.Н. Сотников. «На той далёкой на Гражданке…». (послесловие сына спустя 95 лет после времени действия и 45 лет после написания)

Вы только что прочитали эскиз мемуарного очерка о событиях 1919–1920 годов на Украине драматурга, публициста, критика и художественного педагога Николая Афанасьевича Сотникова (1900–1978). Над этим текстом он работал в самые последние дни своей жизни, ещё более сокращённый вариант звучал по Московскому радио. Устными рассказами на эту тему он делился охотно, щедро, но всегда предупреждал: «Всё это так неожиданно, так фантастично, что я никак не решаюсь об этом написать большое произведение. Ведь все скажут – выдумка, никто не поверит!».

Действительно, неожиданного, на грани фантастики в его судьбе много. Вообще биографии ровесников XX века насыщенные, остросюжетные, сюжет имеет множество ответвлений. Само время рождало такие судьбы и такие характеры! Сам факт того, что сын токаря депо в Полтаве, участника революции 1905–1907 годов, потомок запорожских казаков, сам родом из легендарной гоголевской Диканьки, в которой жила его многочисленная родня, а родной дядя Григорий работал главным поваром у князя В. С. Кочубея, любопытен, но не сенсационен. А вот дальнейшее поражает воображение.

«Микола», как его звали и Котовский, и Якир, очень им пришелся по душе: преданный революции, честный, доброжелательный к бойцам и командирам, очень начитанный, хороший оратор с явными литературными наклонностями, имеющий задатки для командирской, вернее, комиссарской и спецработы, он проделал головокружительную карьеру – не в смысле чинов и денег *(не за этим шли в революцию!),* а в плане реализации своих возможностей. Сперва боец, затем боец взвода охраны штаба в бригаде Котовского, затем ему поручает сам комбриг организовать первичную организацию *сочувствующих* (это нам сейчас кажется, что *сочувствующий* – эпитет, нет, они имели членские билеты, выбирали бюро, секретаря и вообще это были *кандидаты в ряды партии)*… А тут ещё история с пленом, не вошедшая в текст, который вы сейчас прочтёте: подразделение котовцев было окружено махновцами. Кого порубали, кто успел сбежать, а один негодяй выдал отца, назвав его «комиссаром при штабе комбрига».

А дальше начинаются стремительные события, которых хватило бы на полнометражный приключенческий фильм. Дисциплина у махновцев была из рук вон плохая (у петлюровцев – значительно строже). Один махновец вёл отца, передал второму, тот – третьему и в результате, когда отец попал к «батьке» на крыльцо, то уже никто не помнил, «шо це за кацап». Правда, экзамен по разговорному украинскому языку отец выдержал, а «батька» этому моменту внимание уделял большое. Например, он требовал, чтобы пленный правильно произнес слово *«пальяниця»,* очень сложное фонетически для не коренного украинца! Это для тех, кто не знает, особый сорт вкусного, по особому рецепту испечённого белого хлеба.

Настроение у Махно менялось часто, а тут ещё беда на него навалилась: чего-то наелся, и у него начался кровавый понос. Ничего не помогало! Здесь маленькое отступление уместно – мать отца, соответственно, моя бабушка Васса Григорьевна Демская, из русского мещанского рода, была большой знахаркой и целительницей и кое-чему научила сына и дочку Тоню. Отец вызвался вылечить Махно и… вылечил! Но самое удивительное в том, что он, наскоро переодевшись по пути следования, так и не расстался с партбилетом (он уже к тому времени стал членом партии) и с браунингом. Хорошо обыскивали пленных пьяные махновцы, не правда ли?! Так вот, перед тем, как войти в «батькину хату», он умудрился

отпроситься «до ветру» и там в соответствующую яму предусмотрительно выкинул браунинг и билет. И оказался прав – в «хате» его тщательно у самой двери обыскали! Тут бы ему и хана, и не было бы ни нижеследующего текста, ни меня, ни этого моего послесловия.

А дальше, как говорится, дело техники. Был расконвоирован, ходил свободно «коло села», в какой-то момент понял: «Пора!» – и совершил спасительный побег. За ним гнались, стреляли, он проскочил насыпь. Железная дорога делала крутой поворот, а на откосе, в ложбинке валялись на боках железнодорожные вагоны. Вероятно, махновцы совершили нападение на состав, всё ограбили, всех поубивали, прокатились ещё с ветерком, а потом и вагоны под откос пустили. Они это, оказывается, очень любили. По душе им были подобные железнодорожные «забавы». Так вот в этих-то вагонах и нашёл своё пристанище на трое суток отец! Голодный, без воды (спасибо, что ещё тепло было!), пожираемый десятками тысяч клопов, которые отлично пережили махновский налёт и славно расплодились в вагонных стенках, он очень точно рассчитал время, когда можно выходить.

Впоследствии он рассказал об этом Котовскому, и комбриг, сам отличный конспиратор, похвалил его за терпение и расчёт.

Когда Ионе Якиру потребовался командир маленького отряда для захвата на одесском рейде белогвардейской баржи с медикаментами (у наших была острейшая нехватка простейших лекарств, йода, бинтов и т. д.), то выбор пал на отца. Благословлял в дорогу отряд сам Якир. Он спросил отца: «Микола, могу дать человек десять, не больше. Кого возьмёшь? Выбирай сам. Тебе воевать!» Отец, зная уже и социальный, и партийный, и национальный состав бойцов, запросил матросов-анархистов. Это были воистину отчаянные головы! И – не ошибся! Операция, о которой можно было бы снимать второй полнометражный фильм, прошла успешно.

Третье задание было и агентурным, и дипломатическим: надо было уговорить Мишку Япончика выделить для обороны Одессы несколько сот штыков на северо-западном, как, помню, мне отец уточнял, направлении. Это уже, считайте, третья серия того же фильма – настолько она колоритна, остросюжетна и драматична!

Очень сожалею, что не уговорил отца провести очень подробные и последовательные устные рассказы об этих двух событиях: он всегда страшно торопился – то совещание в творческом объединении драматургов Московской писательской организации, то доклад на репертуарной коллегии Министерства культуры России, то подготовка семинара молодых драматургов… Дан виделись-то мы редко! Я жил и учился в Ленинграде, он жил и работал в Москве. Текущие дела и заботы заедали. Но вот уже совсем больным в писательском Доме творчества санаторного типа Малеевка он мне с небольшими перерывами часа три подряд живописал историю Гражданской войны на Украине. Я только успевал задавать уточняющие вопросы и кое-что записывать.

Проза – не поэзия. Иные законы. Об отце я впоследствии написал поэму *«Гоголь-моголь»* о том, как он был комиссаром санпоезда-летучки в окрестностях Житомира (гоголи-моголи он приказал взбивать из яиц, которые осточертели в варёном виде раненым, а больше ничего начпрод достать не смог!) и в поэме *«Ровесник XX века»* о его детстве и юности в Полтаве. Какие-то нити оборваны, какая-то необходимая фактура сугубо личностного свойства утрачена, увы, – навсегда. Конечно, что-то можно «добрать» в музеях, архивах, книгах, периодике, встречаясь с редчайшими в наши дни участниками тех исторических событий, но всё равно главного они не возьмут. Оно – только в писательском сердце!

В 2001 году, когда пресса отмечала горестный юбилей 60-летия начала Великой Отечественной войны, я перечитал немало разного рода о том воспоминаний. Ни одно из них не отличалось *ни художественной новизной, ни художественным совершенством* – важнейшими признаками творческого восприятия действительности. Перечитал короткий очерк отца «Война пришла в наш дом не сразу» о первых неделях войны в Ленинграде, и передо

мною развернулась возможная художественная кинолента. Воистину, как я пишу в одном из своих стихотворений о творчестве: *«Литературный дар – редчайший!»*

Так вот, возвращаюсь на окраины Одессы. Отец с группой уже проверенных в тяжелейшем деле матросов (все были переодеты и имели очень убедительные легенды прикрытия) вышли на переговоры с Мишкой Япончиком. Отец был уполномочен обещать амнистию (всё «япончиково» войско было уголовным, и по ним плакали тюрьмы уже давно) при условии, что они будут держать левый фланг обороны.

Вообще-то, честно говоря, либерализм красных был непомерно широким и, как я теперь убеждаюсь всё больше и больше, неоправданным. Дело в перспективе дошло до того, что М. В. Фрунзе лично сам аргументировал амнистию даже вешателя генерала Слащёва так: если мы амнистируем всех, то ведь не делаем исключения для старших по чину! Напомню, что Слащёв (его воспоминания о его «подвигах» будут вскоре изданы в издательстве «Прибой», в котором во второй половине 20-х годов в Ленинграде начнёт работать мой отец) был прототипом Хлудова в пьесе М. Булгакова «Бег», а в постановке этой пьесы Театром драмы имени А. С. Пушкина в Ленинграде в 1963 году за сценой звучали по радио цитаты из приказов М. В. Фрунзе. Всё возвращается на круги своя, всё взаимосвязано. Воистину, *история рядом с нами, история в нас, мы сами – история.* Это – мой девиз.

Япончик с его «войском» согласились ещё и потому, что белые и петлюровцы им бы никакой амнистии не дали и порешили бы всех до одного. Однако и воевать они не стали и вскоре, оголив левый фланг, разбежались по своим норам и «малинам». Кое-кто прорывался на украинские земли и в молдавские сёла.

Я впоследствии часто спорил с отцом, что можно было бы сделать. Мы с ним даже вычерчивали планы, схемы: кто где и как «стоял». Мне, по-моему, удалось нащупать по его данным один спасительный вариант, но по некоторым причинам отец его посчитал нереальным. Так и пришлось отступать и нашим. До поры до времени, конечно.

На этом закончился самый яркий и самый перенасыщенный событиями период ранней биографии будущего издателя, публициста, критика и драматурга.

Что же касается образа Г. Котовского, то впоследствии я по два раза посмотрел и военных лет фильм «Котовский», и молдавские игровые фильмы о нём, среди которых наиболее впечатляющим оказался «Последний гайдук», и сравнительно недавний фильм «Пыль на солнце»[32] – о тамбовском рейде Котовского, который весь свой отряд переодел в форму белоказаков, себя объявив (как легенду прикрытия) казачьим полковником. Дело было сделано, но были и упущения: один вражёнок из подкулачников сумел разглядеть, что для отряда, пробивавшегося через линию фронта да ещё издалека, «слишком уж всё обмундирование да упряжь справные». Но его быстро заставили замолчать. Навсегда.

Были о Котовском и романы (скучнейшие), были очерки, популярные книги, но, как мне думается, в коротком этюде отца он предстаёт куда более живым и куда более близким к тому, каким он был на самом деле. Ведь помимо всего прочего, *авторы других текстов не были с ним знакомы лично.*

Что можно о Котовском добавить ещё? Враньё, что он был пьяницей. Он не пил вообще! Презирал пьянство, как и Щорс. Любил здоровый образ жизни. Много читал, прекрасно разбирался в сельском хозяйстве, изучал труды по военному делу.

Ветераны мне говорили, что был к 1925 году план такой: Фрунзе – на первое место в Вооруженных Силах, Котовского – ему в замы! Великолепное сочетание, ибо Котовский нёс в себе огромный талант в спецработе, а это очень важно и в общеармейских условиях также. Уровень здоровья у него был очень высок. Прожил бы в строю и до Великой Отечественной несомненно.

---

[32] Был и ещё один фильм, новейший, но его посмотреть мне не удалось.

Трагедия его убийства остается загадкой. В те версии, о которых я читал, не верю. А главной версией пока остается одна – убил из пистолета адъютант из-за ревности. Всё это попахивает дурным детективом или романом уровня Булгарина. Да и время было уже иное. И характеры не те. Убит явно по заказу. Кому выгодно? Говорят – Сталину. Какой смысл терять верного и разностороннего и очень перспективного полководца на первых ролях? Я лично в этот вариант не верю, склоняясь к мысли, что это могли сделать его политические враги как по дореволюционному периоду так и по временам Гражданской войны. А врагов и завистников у такого необыкновенного человека было множество!

В так называемые «перестроечные» годы на Котовского стали лить грязь представители так называемой «демократической» прессы. Одну цитату из какой-то статейки помню наизусть: «Настораживает явно уголовное прошлое Котовского». Это у вас, господа, явно уголовное и прошлое, и настоящее, а Котовский был и остался в нашей памяти последним гайдуком, Робин Гудом юга России начала XX века. У него не было ни замков в Западной Европе, ни счетов в швейцарских банках. Как мне рассказывал отец, ему сам Котовский на вопрос в связи с передислокацией бригады, что, мол, упаковывать куда, засмеялся и показал два вещмешка и чемодан с книгами: «Вот положи в ту бричку да с книгами поосторожнее! Сверху тяжестей на чемодан не навали: дряхлый он у меня, ещё книги сомнёт!»

Вот и всё имущество народного героя!

И ещё один завершающий момент. В бригаде любили петь. Пели песни русские, украинские, общие – революционные, пели и «Интернационал», причём, когда – по-русски, а когда – на своих языках (бригада по составу была интернациональной). Как-то разговорился отец с Котовским по поводу текста «Интернационала», сказав, что сличал его с французским оригиналом, что есть явные отличия не только фонетические, но и поэтические и даже политические. «А ты и переведи! – воскликнул Котовский. – Французский разумеешь, стихи пишешь, рифмованные лозунги сам сочинял. Попробуй. Верю – получится!»

Комбриг как в воду смотрел! В 1928 году в Москве отец как журналист возьмёт интервью у приехавшего для знакомства с СССР композитора гимна Пьера Дегейтера. Встреча произведёт на отца такое впечатление, что он всю жизнь будет изучать его жизнь и творчество, напишет сценарий художественного фильма «Певец из Лилля», который начнёт перед самой войной ставить на «Лен-фильме» режиссёр Владимир Петров, всемирно известный постановщик фильма «Пётр Первый», а главную роль будет вести Владимир Честноков, впоследствии – Народный артист СССР, один из ведущих артистов Театра драмы имени А. С. Пушкина. (Мне посчастливилось с ним познакомиться и даже побывать у него дома в 1963 году.) Съёмки начались в Выборге, который немного походит на северные города Франции. Но война погубила всё: картина была законсервирована, производство закрыто, негатив сгорел. Сохранились лишь подготовительные материалы в архиве отца. Некоторые из них вы найдёте в этом томе. После войны восстанавливать съёмочный процесс не стали, хотя были живы и автор сценария, и режиссёр, и исполнитель главной роли. Почему? Это тема особой статьи.

Отец по мотивам сценария написал пьесу. Она с большим успехом прошла в Астраханском драматическом театре, были широкая пресса, рецензии в «Театре», в «Театральной жизни», с искренним интересом спектакль был воспринят во Франции.

Ещё до войны к фильму «Певец из Лилля» отец написал новый вариант «Интернационала». Опубликовать его удалось лишь в 1970 году в журнале «Детская литература», и то не полностью. Вместе с отцом мы доработали первоначальный вариант, и у меня есть теперь на руках *совершенно иной вариант перевода творения Эжена Потье.*

Так слова комбрига Котовского оказались пророческими.

Н.А. Сотников. «Пусть мой труд остановки не знает…» (Беседа, состоявшаяся с Н. А. Морозовым в Ленинграде в 1934 году)

Н. А. Сотников: **Расскажите, пожалуйста, Николай Александрович, о Вашем прошлом.**

Н. А. Морозов: Это довольно трудная для меня задача, потому что я никогда не думаю о прошлом. Мне кажется, что думать о прошлом может только тот, кому нечего делать в настоящем. А у меня в голове всегда какие-то замыслы, что-то мне всегда в голову приходит. Я думаю не только днём, но и, просыпаясь ночью. Разные идеи приходят. Все эти идеи относятся или к настоящему времени или к будущему, к перспективам. А в прошлое мне просто некогда заглянуть.

Н. А. *Сотников:* У **Вас две жизни – революционера и учёного…**

Н. А. Морозов: И всё-таки они связаны неразрывно. Когда я ещё гимназистом был, все мои интересы носили научный характер. Каждый учебный год мы получали новые учебники. Мои соученики читали гимназические учебники медленно, маленькими порциями, по мере того, как учителя задавали урок, преподносили новый материал. А я в первые же дни прочитывал этот учебник до конца, просто из интереса. С самой ранней юности все мои помыслы были о науке. Я мечтал работать для науки и во имя науки. Ещё будучи гимназистом, я бегал на университетские лекции, посещал университетский музей, принимал участие в географических экскурсиях для сбора окаменелостей…

Но вот эта полоса моей жизни резко прерывается. Я как человек мыслящий не мог не думать о противоречиях окружающей жизни, не мог не сравнивать окружающую жизнь с тем, что мне представлялось справедливым.

Прежде всего меня поразило следующее. Я знал из учебников космографии, что мир образовался постепенно, что были разные географические периоды, что всё это продолжалось миллионы лет, и вдруг мне в гимназии твердят, будто мир создан богом за шесть дней!

Я уже знал, что гром и молния есть явления электрические, и вдруг вижу в церкви икону Ильи пророка на колеснице, мечущего гром и молнию.

Все эти противоречия, которые преподносились нам церковью, навязывались нам в катехизисе и «священной» истории, дали мне почувствовать, что кругом меня господствует зловещая ложь.

И в политическом отношении я знал государства, управляемые выборными представителями, а в церкви то и дело слышал: «Благочестивый император наш и весь царский дом». Нам внушалось, что царь – помазанник божий, что деятельность царя зависит не от воли народа, а от милости божьей.

Всё это привело меня к критическому отношению к нашему российскому образу правления.

В ту пору началось студенческое движение в народ – ведь шли 70-е годы минувшего века. Я как бегавший в университет был знаком со многими студентами. Когда среди них началось движение в народ, я принял в нём участие. За это меня исключили из гимназии, и я вынужден был скрываться, перешёл на нелегальное положение. Естественно, что в таком положении заниматься науками я не смог, и я целиком бросился в революцию.

С гимназических лет я уже писал статьи и стихотворения на лирические и политические темы. Сыграло свою роль и движение в народ, знакомство с крестьянством, с народом. Вот я и отправился за границу, чтобы редактировать там журнал «Работник». С этого началась моя настоящая революционная деятельность.

Однако жизнь за границей, в эмиграции, меня мало удовлетворяла. Я чувствовал, что мои товарищи гибнут один за другим, и меня потянуло в Россию. Я поехал обратно, чтобы разделить участь товарищей. И уже на границе был арестован, посажен в предварительное заключение, где я провёл три года.

В эту пору друзья и знакомые, оставшиеся на свободе, приносили много мне книг для чтения. И тут я впервые стал работать над своим самообразованием. Книги были по преимуществу по политическим вопросам. Тогда же я впервые прочёл труды Карла Маркса и убедился в том, что со времени выхода его книг прежняя политическая экономия уже отошла в прошлое.

И вот я сделался, пожалуй, первым сторонником Карла Маркса в тогдашней России.

Затем меня судили вместе со 192 товарищами. Это был знаменитый процесс *«ста девяносто трёх».* Так как за мною ничего особенного найти не могли, то объявили меня участником тайного общества.

Как только меня выпустили, учтя моё трёхлетнее заключение, я понял, что в покое меня не оставят, и поэтому сразу же перешёл на нелегальное положение. Вот тогда-то я и познакомился с Софьей Перовской и другими народовольцами. Отнеслись ко мне они серьёзно благодаря тому, что за мною уже было революционное прошлое.

В это время вышли в свет мои книжки стихотворений, которые распространялись нелегально. Однажды вместе с Клеменцом и Кравчинским мы присоединились к прежнему обществу «Траглодит», которое образовало общество «Земля и воля». Редакторами журнала этого общества были выбраны Кравчинский и я. Этот журнал просуществовал до весны 1879 года. Мы успели выпустить всего несколько номеров. Весной среди нас начались разногласия. Одним, в том числе и мне, казалось, что прежде всего нужно свергнуть самодержавие, и тогда народ сам выберет тот образ правления, который он пожелает. Свержение самодержавия было нашей основной задачей.

Другие товарищи пришли к заключению, что политическая реорганизация нашего государства не приведёт к улучшению жизни рабочего класса и что нужно прежде всего обратить внимание на экономические вопросы, на передел земель между крестьянами, на то, чтобы рабочие участвовали в прибыли капиталистов и в конечном счёте взяли фабрики и заводы в свои руки.

Эти разногласия отозвались на всей нашей деятельности. В конце концов, чтобы выяснить наши позиции, был созван сначала Липецкий съезд, где собрались будущие народовольцы, а потом – Воронежский съезд, на который мы приехали с чёрными передельцами.

Народники утверждали, что наша политическая деятельность мешает уделять должное внимание крестьянству, а мы считали, что облегчить положение крестьян при существующем общественном строе невозможно.

В результате и произошло разделение наших рядов на Чёрный передел и Народную волю. Наиболее видными деятелями в Народной воле стали Алексей Михайлов, Софья Перовская, Желябов, а в Чёрном переделе – Дейч, Стефанович, Плеханов, Вера Засулич. С тех пор наша деятельность пошла независимо друг от друга. Моя роль в этой деятельности выражалась в том, что я сделался вместе с Клеменцом и Кравчинским редактором Народной воли. Плеханов возглавил газету «Чёрный передел».

Типография Народной воли была арестована в январе 1880 года, и товарищи предложили мне снова поехать за границу, чтобы там редактировать толстый революционный журнал, который вернее назвать альманахом.

За границей я очень быстро с помощью нескольких русских эмигрантов организовал это издание. Первой книжкой вышла «Парижская коммуна», второй – «Мечты всеобщего социализма» Шабли. Когда дошла очередь до третьего выпуска, я захотел напечатать что-

либо из произведений Карла Маркса. С этой целью я отправился в Лондон, где и встретился с Марксом.

Маркс жил тогда в предместье Лондона, в небольшом хорошеньком белом домике, к которому нужно было ехать частью подземной дороги. Первый раз я поехал к Марксу с моим товарищем Гартманом, который жил в Лондоне и был хорошо знаком с Марксом.

Когда мы подошли к домику Маркса, Гартман ударил три раза молоком в дверь, как это тогда полагалось. Нас встретила молодая девушка, которую Гартман по-английски спросил:

– Мистер Маркс дома?

Она по-английски ответила:

– Нет.

В это время вышла дочь Маркса Элеонора, молодая стройная девушка, и обратилась к Гартману как к хорошему знакомому. Разговор у нас шёл по-английски, но так как я английским языком владел плохо, то в первой же фразе я употребил несколько французских слов. После этого Элеонора сразу же перешла на французский. По-французски наш разговор пошёл сразу же раскованнее и свободнее.

Элеонора нам сообщила, что отец ушёл заниматься в читальный зал Лондонского музея, вернётся он поздно вечером, но завтра будет дома и будет рад вас видеть.

На следующий день мы были в назначенный час у него в гостях. Маркс тогда имел совершенно такой же вид, как вы можете себе представить по портретам. Это ведь были портреты того времени, техлет. Я ему, помнится, так и сказал: «Как вы похожи на свои портреты!»

Маркс засмеялся и тотчас парировал:

– Очень странно находиться в положении, когда люди похожи на свои портреты, а не портреты на людей.

Потом Маркс стал расспрашивать меня о Народной воле, о нашей деятельности и сказал, что придаёт большое значение нашей организации. По его мнению, в Западной Европе такая деятельность была бы совершенно невозможна, а начавшись у нас, она может привести к восстанию пролетариата в Западной Европе и таким образом послужить сигналом для мировой революции.

Общее впечатление о Марксе у меня сложилось такое. Он на меня произвёл впечатление человека, понимающего своё значение в науке. Манеры его были профессорские. Держал он себя с достоинством, но просто и раскованно. Вообще это был человек полный достоинства и уверенности в своём значении. Со мной он держался очень приветливо. Видно было, что он от души сочувствует нашему делу.

Когда я попросил Маркса какую-либо из его работ для перевода в России, то он выразил готовность сам отобрать нужные книги и предложил мне придти к нему на следующий день.

Второй раз я пришёл к Марксу без Гартмана. Маркс дал мне с десяток своих различных небольших книжек, в том числе и «Коммунистический манифест».

Принимали нас в доме у Карла Маркса очень приветливо. Мы у него пили чай с бисквитами. Элеонора принимала живое участие в нашем разговоре. Маркс с дочерью вызвались проводить меня до станции железной дороги, которая была в полукилометре от их дома. Здесь мы и простились. Когда поезд тронулся, мы замахали друг другу платочками.

Дорогой я стал изучать произведения Маркса и пришёл к выводу, что лучше всего начать с «Коммунистического манифеста». Об этом я и рассказал товарищам, вернувшись в Женеву. Они с этим согласились и сейчас же начали переводить текст «Манифеста». Но раньше, чем мы успели завершить перевод, я получил письмо от Софьи Перовской. Было это в декабре 1880 года. Она писала, что назревают чрезвычайно важные дела, и моё присутствие в России необходимо. Просила меня приехать при первой же возможности. Я немедленно собрался и отправился в путь железной дорогой. При переезде через польскую гра-

ницу я был арестован и посажен сперва в Сувальскую тюрьму, а потом в Варшавскую цитадель. При аресте я назвал себя студентом Женевского университета Лакьером, так как у меня был паспорт моего друга студента Лакьера. Однако мне не поверили. Вскоре меня перевезли в Петербург и посадили в Дом предварительного заключения, где меня сразу же узнали.

В то время, как я сидел в Варшавской цитадели, произошло убийство Александра II. Узнал я об этом от моего товарища соседа по заключению польского революционера Бальницкого.

Тут я решил, что жизнь моя кончена – смертной казни не миновать. Стал внутренне к ней готовиться. Но мои товарищи, которые непосредственно участвовали в покушении на убийство Александра II – Желябов и Перовская – стали впереди меня перед лицом смерти. Сначала судили их. Пять человек приговорили к смертной казни. Казнили. А затем, почти через год, судили девятнадцать народовольцев и меня с ними. Тех из них, кто принимал непосредственное участие в различных покушениях и вооружённых действиях, приговорили к смертной казни. А меня как сотрудника журнального, пропагандиста, литератора – к бессрочному заточению в крепости.

Приговор к пожизненному заключению сначала привёл меня в полное недоумение. Я этого никак не ожидал. Поразмыслив, я почувствовал, что у меня начинается какая-то другая, новая жизнь, что я ещё могу что-нибудь сделать в будущем.

Я надеялся, что меня отправят на каторгу в Сибирь, но надежды мои не сбылись. Не прошло и двух-трёх недель после вынесения приговора, как вдруг ночью дверь в мою камеру отворилась, и в камеру с шумом ворвалась толпа жандармов вместе со смотрителем. Они принесли мне куртку, арестантский костюм и приказали раздеться. Когда я одел серую куртку, нацепил такие же серые башмаки, два жандарма подхватили меня под руки и в сопровождении остальных участников ночного дозора потащили меня во двор. Я думал, что меня сейчас начнут пытать, чтобы я дал какие-то новые нужные им показания, так как на судебном заседании показания давать отказался и лишь заявил, что *признаю себя революционером*, а любые показания революционера могут нанести вред его товарищам и соратникам по борьбе.

Так вот, тащат меня по коридору… Внезапно сбоку открывается какая-то маленькая дверь. Мы устремляемся туда. Ночной стылый мрак. Зима. Впереди вырастает какая-то стена. Вижу, сверху валят хлопья снега. Увидел я снег и сразу как-то на душе покойнее стало. Очень я с детских лет любил зимнюю пору!.. А между тем меня продолжают тащить между зданиями по каким-то узким переходам. На нашем пути возникали ворота, которые будто бы сами отворялись и пропускали нас, а потом вновь затворялись. Вытащили меня из бастиона. Я увидал перед собою берег реки, мостик и дальше невысокое здание. Я сразу понял, что это Алексеевский равелин. Меня вытащили в коридорчик, тоже тускло освещённый. Вдали стоял часовой с шашкой через плечо. Сбоку от него шёл ряд дверей. Одна из этих дверей отворилась при нашем приближении, и меня туда ввели. Оказалось, что это камера. Новый мой смотритель заявил мне: «Сюда входят, но отсюда не выходят. Это хуже смертной казни. Никаких книг, никакой переписки и никакого выхода».

Затем смотритель ушёл, и я остался один. Осмотрелся. Обнаружил кровать, одеяло. Я скорей лёг, закутался в одеяло, чтобы согреться. И, как ни странно, довольно быстро уснул, несмотря на весь ужас пережитого и страшный, почти могильный холод моего нового жилища.

Когда я проснулся, дверь отворилась, и мне принесли завтрак: чай в стакане, сахар и булочку. Я страшно удивился: нам ведь кроме чёрного хлеба в крепости ничего не давали и вдруг такая роскошь! Потом, смотрю, приносят обед: курица, суп и даже бисквит. На ужин опять чай (два стакана!) и опять булочку.

В первый же «алексеевский» день я успел простучать в стену камеры и познакомиться с соседями. Мне ответил товарищ по процессу. Рядом, говорит, – Исаев, Триголин… Когда день кончился, Триголин мне передаёт: «Неужели нас всегда так кормить будут?» Но не прошло и двух дней, как приносят нам вместо чая простой кипяток и кусок чёрного хлеба, а на обед – пустые щи, в которых плавают несколько лепестков капусты, и кашу на постном масле. На ужин – опять же кружку кипятка и чёрный хлеб.

Как оказалось, нас не знали, как содержать – не было инструкции. Пришлось доложить царю. И вот получили распоряжение от самого царя – *«На кипяток и чёрный хлеб*!» Потом, уже после Октябрьской революции обнаружились документы, гласившие, что обо всей нашей жизни царю доносили *ежемесячно*.

От этой пищи мы страшно исхудали, показались рёбра, стали пухнуть ноги, началась цинга, а вскоре появились кровавые пятна на ногах. Когда эти пятна поднимались до живота, человек умирал.

Моя опухоль поднималась к животу месяца два. И вот однажды отворилась дверь, и ко мне вошёл доктор Вильямс. Он осмотрел меня и дал своё весомое заключение – цинга. Прописал железо и кружку молока на ночь. Постепенно цинга стала проходить, но ходить на таких изувеченных ногах было невыносимо больно. Однако я предвидел – если лягу, и не буду делать попыток вставать и передвигаться, то не встану уже никогда. Так я заставлял себя двигаться, двигаться, двигаться…

На протяжении полутора лет меня (и моих товарищей – я знал об этом по нашей связи) то вгоняли в цингу, то излечивали от неё. Это продолжалось *трижды*! Третьей атаки половина наших товарищей не выдержала. Поправились Триполев, Фроленко, я и несколько других товарищей. А за это время нам готовили новоселье – в Шлиссельбурге строилась для нас новая тюрьма.

В Алексеевском равелине мы провели три года. Однажды отпирается моя камера и входят ко мне смотритель в сопровождении жандармов и ещё какого-то человека в штатском, который несёт цепь, наковальню и какие-то другие приспособления. Меня заковывают по рукам и ногам в цепи и наручники. Затем они пошли к моим товарищам. Я слышал, как их заковывали – такой стоял в наших каменных казематах звон!

Когда они вышли из камер, мы успели немного пообщаться, перемолвиться на ходу. Мы не представляли себе, куда нас отправят – на Сахалин или в Шлиссель-бургскую крепость.

Перевозили нас ночью. Опять отворялась дверь, опять волокли нас жандармы. Помню опять берег реки. Нева! Какой-то помост внизу. Первая мысль бросилась в голову: «Не хотят ли нас утопить в кандалах?!» Но вскоре обнаружилось, что перед нами баржа, а в ней – небольшой люк. Два жандарма подхватили меня и опустили в этот люк. Я очутился в коридоре, освещённом лампочкой, увидел часового, а по сторонам ряд небольших чуланчиков. В один из таких чуланчиков меня и втолкнули. Тут я окончательно понял – нас повезут на барже.

Через каких-нибудь полчаса зашумела за бортом вода. В чуланчике была маленькая форточка, сквозь которую виднелся кусочек неба. Я смотрел и думал: «Если по дороге будет один мост, то нас везут в море, если в Шлиссельбург, то два моста». Смотрю – проехали один мост, за ним второй. Значит, – Шлиссельбург!

Было уже светло, когда баржа остановилась. Два жандарма вытащили меня из люка на палубу. Перед глазами высокий серый бастион, а над воротам надпись: «ГОСУДАРЕВА КРЕПОСТЬ».

Меня потащили под руки мимо церкви. Отворились ворота, и я увидел новое каменное здание с решётками на окнах. Сперва меня поместили в маленькую Камеруна первом этаже. Кандалов не снимали. Затем (примерно через неделю) расковали, и я очутился в небольшом

помещении – шагов четыре в ширину и шагов пять-шесть в длину. Койка была прикована к стене. Был ещё и столик, тоже к стене прикованный.

Так началась моя жизнь в Шлиссельбургской крепости. Первое время нас даже не пускали прогулку. Затем стали выводить на четверть часа, поодиночке. Месяца через два спросили, не желаем ли мы чего-нибудь почитать. Оказывается, в Шлиссельбургскую крепость была привезена из какого-то учёного учреждения целая библиотека томов в триста, в которой были учебники и книги по всем наукам за исключением политической экономии и социальных вопросов. Вот тогда-то я и набросился на чтение этих книг!

Письменных принадлежностей сначала не давали, но потом стали выдавать пронумерованные тетрадки. Я принялся за работу. Решил изучать все науки, какие только возможно. Покончив с одной наукой, я принимался за другую. И меня это спасло – нравственно, физически и интеллектуально! Другие товарищи не выдержали пребывания в одиночных камерах. Один из них – Грачевский – воспользовавшись тем, что в камере была керосиновая лампа, облил свою койку керосином, бросился на неё ничком и сгорел заживо раньше, чем жандармы успели обнаружить дым.

Другой наш товарищ, Мышкин, бросил тарелкой в смотрителя, за что и был расстрелян.

Щедрин и Конашевич сошли с ума.

Тогда нам разрешили ходить на прогулку вдвоём и увеличили время прогулок. Но самое главное – нам устроили мастерскую, в которой разрешили работать. Это была переплётная мастерская, в которую нам привозили книги, преимущественно научного содержания.

Так и шло наше время.

Получив возможность читать, писать и вычислять, я принялся за разработку тех мыслей, которые у меня возникали при чтении различных книг.

Первой моей научной работой было определение времени Апокалипсиса. В этой книге я нашёл много мест, посвящённых астрономии. Я произвёл расчёты и пришёл к выводу, что «Апокалипсис» написан не в 70-х годах первого столетия нашей эры, а в 395 году и завершён 30 сентября. Таким образом, его авторство принадлежит вовсе *не Иоану Богослову, Иоану Златоусту.* Это первое, что навело меня на мысль о пересмотре истории.

Под этим астрономическим углом зрения я стал изучать Библию и Книгу пророков. И увлёкся. Систематические научные занятия стали нормой моей тюремной жизни. И спасли меня. Благодаря им, я уцелел. Так я учился, мыслил и жил *четверть века!*

Освобождение из тюремной крепости произошло через 25 лет, в октябре 1905 года. На прогулку вдруг явился жандарм и объявил, что меня вызывают в первый огород. Иду. Вижу – там собрались уже все мои товарищи. Стоит комендант и спрашивает:

– Все ли собраны?

– Все! – ему отвечают.

И тогда он нам объявляет манифест государя императора. Согласно манифеста, те, которые сидят здесь свыше десяти лет, отпускаются на свободу, а те, кто менее десяти лет, – отправляются на поселение в Сибирь.

– Но, – заявляет комендант, – это будет не сразу и не сейчас, а дня так через три, когда мы всё подготовим для вашей отправки. А теперь я предлагаю тем из вас, кто писал в заключении (говорит и на меня смотрит), вот, например, номеру четыре (а это мой тюремный номер) сдать научные труды мне на просмотр. Что будет можно, я на волю выпущу.

Так как у меня была целая кипа тетрадей, которые, если их сложить в столбик, доходили бы до пояса, я решил, что если я ему их дам, он их мне ни за какие просьбы не вернёт. Да и как ему за два дня просмотреть такое число страниц! А в моих тетрадях чисел было больше, чем текста. Ещё подумает, будто я шифровкой пользовался. Поэтому я пошёл

в мастерскую, сделал ящик для того, чтобы спасти свои тетради. Однако крышку я не прибивал, а взял ящик к себе в камеру.

Через два дня явился комендант и спрашивает:

– Почему Вы не представили для просмотра тетради? Раз они мною не проверены, значит, они здесь и останутся.

Я ему отвечаю, что для даже беглого просмотра их нужен целый месяц, не менее.

Тогда комендант подумал и говорит:

– Вы ведь приедете в Петербург и не сразу попадёте на свободу. Отправлю-ка я всё это в Петропавловскую крепость в запечатанном виде в распоряжение коменданта Петропавловской крепости.

На том и расстались.

Через два дня после моего перевода вновь в Петропавловскую крепость открывается дверь камеры, жандармский офицер с порога объявляет:

– Вас на свидание.

Оказывается, это было свидание с моей сестрой Верочкой. Встреча с ней состоялась в кабинете самого коменданта. Комендант, завидев меня, говорит:

– Вот и Ваша сестра.

Потом положил на стол часы и уже более холодным, казённым тоном произнёс:

– Вам даётся для разговора двадцать минут.

А сам сел у другого конца стола. Я стал расспрашивать Верочку о её жизни, о наших родных, а затем кратко поведал о жизни своей. Потом обращаюсь к коменданту и говорю:

– Генерал, у меня масса научных работ было написано за годы моего пребывания в Шлиссельбургской крепости. Нельзя ли их передать моей сестре?

Генерал тотчас позвонил в колокольчик. Появился унтер-офицер. Комендант Петропавловской крепости строго спрашивает этого унтер-офицера:

– Что, с Морозовым привезли какие-нибудь вещи?

– Как же, как же, Ваше превосходительство, целый ящик, запечатанный печатью коменданта Шлиссельбургской крепости.

– Ну, раз ящик за печатями коменданта Шлиссельбургской крепости, значит, там ничего вредного нет. Передайте этот ящик даме. Она может взять его с собой.

Таким образом, мои сочинения уцелели благодаря тому, что два коменданта поочерёдно спихивали с себя ответственность!

Выпустили меня на свободу. Радости моей не было границ, но сразу же появились и границы – мне было разрешено проживание в Петербурге с тем, чтобы я каждое утро ходил в отделение и получал паспорт на каждый день. Так я прожил две недели!

Я поделился своими горестями с одним знакомым адвокатом, защищавшим в ту пору политических. Он поехал в Сенат и стал доказывать, что я выпущен на свободу безо всяких ограничений. У него были связи, знакомства, и ему удалось познакомиться детально с новыми положениями о выпущенных на волю. В итоге пришлось обратиться к министру юстиции Щегловитову. Тот вошёл в моё положение и приказал, чтобы мне выдали паспорт на три месяца с тем, чтобы я в течение этих трёх месяцев приписался бы к одному из привилегированных сословий и получил постоянный паспорт.

Получив временный паспорт, я отправился к себе на родину в Мологский уезд, в город Мологу. В этом городе жили четыре мои сестры с мужьями, которые были хорошо известны местному начальству. Сейчас же мне представили мещанского старосту с тем, чтобы он приписал меня к мещанам города Мологи и выдал документ на жительство. Староста этот сказал, что он считает для себя честью приписать человека с такой судьбой, как у меня, к мещанскому сословию. Вскоре меня прописали и выдали постоянный паспорт и свидетельство мещанина города Мологи.

После того, как я был выпущен из Шлиссельбургской крепости, все тогдашние либералы[33] хотели со мною познакомиться. За это время я приобрёл массу новых знакомых. Так я познакомился и с моей будущей женой – племянницей писательницы Марии Валентиновны Ваксон.

Переехав в Петербург, я сразу же вошёл в круг учёных. С этих лет стали издаваться мои книги. Вот некоторые из них: *«Откровение в грозе и буре», «Периодические системы строения вещества», «Менделеев и значение его периодической системы для химии будущего»*, «В *начале жизни», «Из стены неволи»,* «*Основы качественного физико-математического анализа», «Законы сопротивления упругой среды движущимся телам», «Начала векториальной алгебры в их генезисе из чистой математики*», «В *поисках философского камня», «На войне*» (об этой книге хочу сказать особо – это мои воспоминания о втором годе Первой мировой войны, мне довелось побывать на передовых позициях), *«Повести моей жизни»* и многие другие.

Немало я работал и как редактор, организатор ряда изданий. Под моей редакцией выходили такие книги, как «Введение в дифференциальное и интегральное исчисление и дифференциальные уравнения», «Техническая энциклопедия», и, наконец, «Детская энциклопедия»

Одной из наиболее значительныхмоихработ была книга, вышедшая в свет под названием «Христос» – это история народов в свете естествознания. Название придумал не я – у меня был другой вариант – длинный и слишком наукообразный. Мой издатель – Ионов – обратил внимание на то, что у меня очень много упоминаний о христианстве и посоветовал в целях привлечения читательского внимания назвать моё сочинение «Христос».

Так в книгах началась моя новая жизнь. Жена моя, по призванию актриса, посвятила свою жизнь моей работе. Она помогла мне во всём, читала корректуры и даже научилась делать для меня кое-какие вычисления.

В настоящее время я работаю над применением астрономии к метеорологическим явлениям. Я пришёл к заключениям, что наша погода зависит не только от перемены солнца, но и от всего нашего галактического космоса. Для доказательства этого тезиса нам придётся переделывать все метеорологические таблицы солнечного времени на звёздное. Эта работа представит большие трудности, но провести её совершенно необходимо для определения влияния галактики на метеорологические явления и даже на землетрясения. Землетрясения вообще, по моему убеждению, бывают тогда, когда местность подвергается притяжению галактики при суточном вращении земного шара.

Кабинетная работа не стала для меня единственной. После выхода из Шлиссельбургской крепости я сразу же познакомился с Лесгафтом, который пригласил меня читать курс химии. Так я стал профессором химии, начал свою преподавательскую деятельность.

Вместе с тем я немало ездил по России, читал лекции по самым разным отраслям знаний, в том числе, кстати и по авиации. Читал даже лекцию в авиационном училище о культуре и научном значении воздухоплавания.

В Академии Наук СССР я являюсь почётным членом. Я представил туда четыре научных труда: «О *частоте землетрясений*», «О *влиянии электрического и магнитного поля планет на устойчивость их орбит», «Об абберации и вращении наблюдательной базы»* и о том, что сила тяготения распространения со скоростью света.

Да, я поставил свою жизнь исключительно научной деятельности, в которой вижу главное орудие для будущего счастья человечества. Насколько хватит сил и сейчас отдаю всё своё время и все силы науке, и мне часто вспоминается стихотворение, которое я повторял ещё в юности много раз:

---

[33] Это, скорее, сочувствующие оппозиции. Нынешний термин противоположен.

Догорает свеча, догорает,
а другого светильника нет.
Пусть мой труд остановки не знает,
пока длится мерцающий свет.
Пусть от дрёмы, усталости, скуки
ни на миг не померкнет мой взгляд.
Пусть мой ум, моё сердце и руки
сделать всё, что возможно, спешат,
Чтоб во сне меня мысль утешала,
что последняя вспышка ума,
что последняя искра застала
за работой полезной меня.

Вот и судите сами, одна жизнь мною прожита или две! Всё-таки, наверное, – одна, потому что *нет революции без науки и нет науки без революции.*

Н.Н. Сотников. Ломоносов лет совсем недавних

Удивительнейшие бывают в истории совпадения: в тот день 30 июля 1946 года, когда родился автор этих строк, в посёлке Борки Ярославской области скончался человек, которого мы по праву можем называть Ломоносовым XIX и XX веков. И датировка эта сомнения не вызывает, ибо прожил на свете Николай Александрович Морозов 92 года! При этом он работал до последнего мига своей жизни. Правда, список долгожителей столь почтенных можно продолжить: это и классик бразильской и мировой литературы Жоржи Амаду, и классик исландской и мировой литературы Халдор Лакснес, и наш корифей, писатель и академик Леонид Леонов, и величайший Гёте, который незадолго до своего 82-летия завершил вторую часть «Фауста», а в самый последний день своей жизни залпом прочитал французскую книгу о революции в Париже 1830 года, и 87-летний академик Павлов, и, скажем, наш несравненный карикатурист Борис Ефимов, который открывал свою юбилейную выставку в 100 лет, и 100-летний хирург Ф. Углов. Всё это так, но все они не сидели почти 30 лет в могильных казематах Петропавловской крепости и в крепости Шлиссельбургской!

Химик, математик, астроном, языковед, полиглот, знавший 11 языков, историк, геофизик, астрофизик, метеоролог, воздухоплаватель, основатель аэрофотосъемки, философ, знаток политической экономии, публицист, директор Естественнонаучного института имени Лесгафта, прозаик, поэт, а самое главное – революционер-народоволец, которого не сломили никакие испытания, феноменально трудолюбивый и обаятельный человек, которого знали и ценили Карл Маркс, В. И. Ленин, Лев Толстой, Илья Репин, написавший *четыре* его портрета, химик Д. И. Менделеев, историк Е. В. Тарле… Я перечисляю только звёзд первой величины XIX и XX века. Причём самое интересное, что все его признавали за «своего»: историк Н. М. Никольский спорил с ним по поводу его ошеломляющей гипотезы о сдвиге хронологии истории человечества на несколько веков, химик Д. И. Менделеев ходатайствовал о присуждении ему степени доктора химических наук *без защиты диссертации по совокупности трудов*, биолог и физиолог, теоретик физкультуры и спорта П. Ф. Лесгафт поручал ему руководить кафедрой астрономии в своей Высшей вольной школе в Петербурге; его считал своим соратником и коллегой К. Э. Циолковский, его высоко ценили братья Вавиловы; физик Курчатов подтверждал его физические гипотезы; своим коллегой по литературному перу его считали Валерий Брюсов, Владимир Короленко, Владимир Гиляровский…

Сохранилась славная фотография гостей на знаменитых средах в репинских Пенатах. Хотя все по возможности готовятся к съёмкам и ощущают на себе «взор» фотообъектива, видно, что в центре внимания именно Н. А. Морозов. Все взгляды были обращены к нему. И только фотосъёмка, в ту пору довольно долгая процедура, заставила их перегруппироваться. Глядя на Морозова, никак не скажешь, что этот человек почти три десятилетия видел только клочок неба в тюремном окне. Но *он сидел не в тюрьме, а во Вселенной*, постигая её тайны, постоянно обогащая свою память, изучая науку за наукой, язык за языком… Одна только библиография его публикаций представляет собой брошюру почти в сто страниц, в ней только сочинений самого Морозова *около четырёхсот*!

Нельзя сказать, что о нём не писали, в том числе и книги. Есть очень основательное историческое исследование В. А. Твардовской «Н. А. Морозов в русском освободительном движении» (не удивляйтесь «сходству» фамилий – это действительно дочь нашего выдающегося поэта и литературного деятеля А. Т. Твардовского), есть очень обстоятельная книга Б. С. Внучкова «Узник Шлиссельбурга» (однако она вышла в Ярославле и есть далеко не в каждой даже крупной библиотеке). Я уже не говорю о книге философа С. М. Жданова «Н. А. Морозов» на украинском языке, да ещё тиражом 1100 экземпляров!

Поэтому можно сказать смело – мы и знаем о нём и почти не знаем его: труды и сочинения учёного и литератора давно не переиздавались, широкому кругу читателя почти всё недоступно. А о некоторых сторонах его дарования (например, он был выдающимся популяризатором науки и лектором, только за период с 1908 по 1916 года он выступал в 54-х городах, в том числе на Украине, в Сибири и на Дальнем Востоке!) мало кто осведомлён. Почти никто не знает о его журналистской деятельности в годы Первой мировой войны: шестидесятилетний недавний узник страшнейших тюрем сам, добровольно отправился на фронт как представитель либеральной газеты «Русские ведомости». Его журналистские произведения составили сборник «На войне. Рассказы и размышления», вышедший в свет в Петрограде в 1916 году.

Вот такой феномен! Работая над морозовской темой в продолжение трудов своего отца, автора документальной повести «О чём рассказали звёзды», я отправил письмо в дом-музей Морозова в Борках. В 1991 году мне пришёл любезный ответ директора музея Т. Г. Захаровой, которая подтвердила, что в музейных фондах есть машинописная копия *девяти* страниц на машинке (а у меня – 19 страниц) из Архива Академии наук СССР (ныне – Российская академия наук, РАН) записи беседы моего отца Н. А. Сотникова с Н. А. Морозовым для кинолетописи 15 апреля 1941 года и фотографии с трех кинокадров кинохроники от 23 апреля 1941 года (Морозов с женой Ксенией Алекеевной проживал в своей ленинградской квартире по адресу: улица Союза Печатников, 25а).

Вероятно, речь идёт о второй встрече отца с Морозовым, спустя, как я теперь подсчитал, семь лет, однако главной, наиболее содержательной беседой отец считал первую, а про вторую в своих устных рассказах даже не упомянул.

Не исключаю возможность, что было три фильма, как говорят в таких случаях кинодокументалисты, «три сюжета» – поболее от 1934 года, покороче от 15 апреля 1941 года и совсем короткий, хроникёрский – от 23 апреля того же года. Знаю, что отец в ту пору был очень занят на «Ленфильме» как автор сценария фильма о композиторе, авторе «Интернационала» Пьере Дегейтере, и штатной работой на «Леннаучфильме» как заведующий сценарным отделом. С кинохроникой он мог сотрудничать лишь внештатно, как автор.

Очень хочется увидеть кинокадры с Морозовым, но ведь надо для этого специально ехать в Борки, в музей!

… Когда вы будете проходить по улице Союза Печатников, обратите, пожалуйста, внимание на мемориальную доску на доме 25а: *«Здесь жил и работал с 1906 по 1941 год революционер и учёный, почётный академик Николай Александрович Морозов (1854–1946)».*

И под конец сенсация! 88-летний Н. А. Морозов в 1942 году из Борок вызвался прочесть ряд лекций бойцам и командирам Волховского фронта, которые встретили его очень уважительно и радушно: с удовольствием выслушали его беседы и уступили его странной просьбе пройти по траншеям как можно ближе к передовой. При этом он что-то прятал за пазухой… Когда его привели на исходный рубеж и он заметил фашистских солдат на расстоянии выстрела, то выхватил из-за пазухи какой-то странный большущий пистолет с оптическим прицелом и уложил наповал несколько фрицев!

Оказывается, это *тот самый пистолет*, который он, народоволец, предназначал сперва для Александра II, а затем для Александра III, люто ненавидевшего

Морозова-Щепочкина (по настоящему отцу а не крёстному) за то, что против него вступил в непримиримую борьбу его родственник: ведь прадед Морозова был женат на Е. А. Нарышкиной и находился в близком родстве, соответственно, с самим Петром Первым!

Вот какие невероятные сюжетные ходы рождает история!

А теперь несколько слов непосредственно о том, как создавалась кинолетопись 1934 года.

Напомню читателям, что тогда не было ни телевидения, ни видеозаписи, но запечатлеть в памяти потомков кинокадры с выдающимися деятелями науки, литературы и искусства было так заманчиво! И вот на каком-то очень высоком уровне приняли решение снять несколько фильмов не для показа, а, так сказать, впрок. Среди кинематографистов, которым была доверена эта работа, был мой отец.

С Н. А. Морозовым литератор и сценарист нашли общий язык быстро, миром кино Морозов, как выяснилось, увлекался (чем только не интересовался этот Ломоносов и Леонардо да Винчи XIX–XX веков!), а чисто по-житейски он оказался очень покладистым, очень гостеприимным и даже хлебосольным хозяином. Напомню, что время съёмок было нелёгким – ещё не были отменены карточки, но к приходу съёмочной группы на квартиру к Морозову стол уже ломился от такого изобилия съестного, что, как с юмором вспоминал отец, «все наши от увиденного лишились дара речи и чуть не попадали в голодные обмороки»! Заприметив некое замешательство, чуткий и очень добросердечный герой будущей киноленты сразу же предложил всем помыть руки и «откушать с дороги».

На столе были овощные блюда, грибы разных видов, птица, телятина! Предваряя вопросы, Морозов, добродушно посмеявшись, представился всем ещё раз: «Перед вами последний советский помещик! Наследственное имение Борки превращено в совхоз, но личным указом Ленина часть разнообразной сельхозпродукции поставляется мне в виде натуральной платы. Так что мои продовольственные траты сведены к минимуму и… (тут Морозов сделал торжественную паузу!) я могу львиную долю своих денег тратить на книги (тут он замедленным, немного театральным, но несомненно искренним жестом показал на тысячи томов своей библиотеки)».

Работала группа споро, с увлечением. Морозов, как мальчишка, увлекся новой для него техникой, крутил всякие ручки, наводил объектив на резкость, и все изумлялись тому, сколько жизней прожил этот удивительный человек!

Т.Г. Захарова. «Самый большой архив из академиков». (Из письма научного сотрудника дома-музея Н.А. Морозова Г. Г. Захаровой Н. Н. Сотникову)

Здравствуйте, Николай Николаевич!

Отвечаю на Ваши вопросы. В архиве музея есть два фильма о Морозове: старый (плёнка порвана, 1955 года, «Союзкинохроника», Ленинград) и второй, 1983 года. Эту копию мы заказывали в Госфильмофонде (Центральный государственный архив кино фотодокументов в подмосковном Красногорске). Этот фильм показывали в юбилейные дни в борковском клубе. Звуковая часть – минут тридцать (длина плёнки 350 метров), а немая – менее пяти минут. На футляре надпись: *«Съёмка в апреле 1941 года в квартире Морозова при Институте имени Лесгафта».* Кстати, институт закрыли не сразу после смерти Морозова, а в 1957 году.

…В библиотеке музея в основном научная литература. Большая часть усадебной библиотеки хранилась у племянника Морозова Александра Петровича Морозова, детского писателя (псевдоним – *Холодов).* В блокаду Ленинграда он погиб на вокзале, жена его умерла в Ярославской больнице, а сын воспитывался в чужой семье в Ярославле, потом жил в Вильнюсе.

Наши «*Музейные записки»* (вышло семь выпусков) вам будут неинтересны, а в буклетах короткий текст и мало фотографий.

… Все пишут о Морозове, почти каждый год выходит по книге. Пишут одно и то же, чуть смещая акценты. Хорошо ли это? Не знаю.

У самого Морозова – самый большой архив из академиков (Архив Российской Академии наук, фонд 543, более 7600 единиц хранения).

Всего доброго

Т. Захарова
5 декабря 2014 года

Н.Н. Сотников. Читая письмо из Борков Ярославских

Вот такое короткое письмо пришло из дома-музея Н. А. Морозова из посёлка Борки Ярославской области.

Есть необходимость сделать краткие комментарии.

Судя по всему ТОГО фильма (1934 года производства) в музее нет, но это не значит, что снятые в 1934 году кадры не вошли в те два фильма, о которых ведёт речь Татьяна Григорьевна.

Под Институтом имени Лесгафта разумеется институт *научно-исследовательский*, а *не учебный* институт физкультуры и спорта, который был и остаётся крупнейшим центром подготовки этой редкой категории специалистов.

Детский прозаик *Холодов* ни в одном из имеющихся под рукой справочников не значится. Возможно, он и не был членом Союза советских писателей.

О некоторых книгах, посвящённых Н. А. Морозову, я уже писал, но ещё раз подчёркиваю, что писать о его деяниях в целом невероятно трудно, ибо он – воистину Ломоносов *дней совсем недавних*! Найти автора, который бы легко переходил от химии к истории, от астрономии к языкознанию, не представляется возможным. Огорчительно другое – *архив почти не разобран и мало изучен.* А ведь в нём по разным отраслям знаний могут быть подлинные перлы. Да что говорить, когда архив универсального (но не настолько, как Морозов) учёного XIX века – А. Н. Оленина – тоже ещё не приведён в порядок. Как я слышал, такова же судьба архива Н.С. Лескова и О.Ф. Бергольц. Вопиющие примеры бесхозяйственности.

Больше всего лично меня потряс факт – архив Морозова *самый большой!* А ведь лучшие годы его жизни, молодость, зрелость, – это тюрьма-одиночка. Но – *«Я не в тюрьме сидел, а во Вселенной».* Истинно так.

Н. Н. Сотников

Н.А. Сотников. «Довоенная пора – самая отрадная!». (Из письма Н. А. Сотникова своему сыну Н. Н. Сотникову)

Н.А. Сотников

Я, как ты знаешь, – ровесник века. И дело тут не в случайном совпадении года рождения: наше поколение в целом – явление в истории совершенно уникальное. Впрочем, мне тебе это доказывать и не надо, а вот подчеркнуть некоторые особенности наших судеб (и в частности, – моей судьбы) стоит.

Во-первых, у нас очень сложные сюжеты судьбы. Каких-то упрощённых, прямолинейных, судеб я почти не знаю. Помнится, как-то я тебе уже приводил в пример совершенно уникальную литературную судьбу нашего земляка, ленинградца, исторического романиста Леонтия Ваковского: поступил в Петроградский университет, закончил его и всю жизнь занимался *только*, как у нас в Союзе писателей принято говорить и писать, *«литературной работой на дому»*\ Были у него разные общественные должности, порою даже видные, но они никогда не поглощали его литературной работы и не отнимали всё или почти всё время.

Иное дело у меня. Поверишь ли, но я сам не смогу чётко и быстро, как на экзамене, без различных оговорок, поправок и уточнений перечислить даже основные места моей штатной работы. Ты мне, конечно, возразишь: «А как же – анкеты?» Ты знаешь, и при заполнении анкет мне приходилось многое упрощать: иначе не хватило бы никакого места для заполнения! Почему это происходило?..

Ты знаешь, что *я мечтал заниматься исключительно литературной работой.* К этой мысли я пришёл где-то после 1928 года, когда уже поднабрался литературного опыта, научился строго планировать время, когда у меня появились реальные и во многом оригинальные творческие планы, без чего полнокровное творчество невозможно. Но разного рода житейские обстоятельства не позволяли мне обходиться без постоянного *приработка*, более того – *заработка*, что, естественно, не одно и то же. Так стали возникать разного рода совмещения должностей, наслоения одной должности на другую. Не скажу, что финансовые проблемы были единственными: многое меня просто чисто творчески увлекало. Бывали случаи, когда меня не то, чтобы обязывали (я ведь не был членом партии!), но выбирали, оказывали *доверие*, а порою и, прямо скажем, *честь.* Категорический необоснованный отказ в таких случаях выглядел бы более чем странно и даже неблагодарно.

Сейчас, читая это моё письмо, ты для себя сделаешь немало открытий: раньше я тебе об этом не говорил и не писал. И не потому, что не хотел, а считал, что основные вехи моей биографии ты знаешь, а это уже – детали, подробности, как-нибудь о них я тебе и поведаю. Как правило, это касалось каких-то пауз в основном развитии сюжета и разного рода наслоениях и дополнениях.

Но начнём всё же с твоего главного вопроса о моём литературном окружении в конце 20-х – начале 30-х годов. До 1931 года я был преимущественно издателем. У нас печатались люди с именами. Лично у меня были товарищеские отношения с Константином Фединым, Николаем Никитиным, Вениамином Кавериным, Юрием Тыняновым, Евгением Шварцем, Леонидом Соболевым. Что же касается Бориса Лавренёва, то это – дружба, причём на всю жизнь. Среди менее известных литераторов у нас в активе постоянно были Борис Четвериков, Леонид Грабарь, прозаик с богатым военным прошлым. Нашими добрыми товарищами и консультантами были видные критики и литературоведы Георгий Горбачёв и Евгения Мустангова. Между прочим, тебе как преподавателю курса *«Литературно-художе-*

ственная критика» очень советую в Публичной библиотеке поискать по-своему уникальную книгу Мустанговой *«Современная русская критика».* Я понимаю, что ты больше тяготеешь к новейшей литературе, но довоенный литературный опыт уникален и может быть весьма и весьма полезен и ныне.

Как ты видишь, среди наших имён в основном прозаики. Тебя удивит, но к нам хаживал даже такой старейший беллетрист, как Потапенко. Помнишь слова Алексея Николаевича Толстого о том, что если бы не Красный Октябрь, то его писательская судьба была бы подобна судьбе Потапенко. Многие думали, что он остался где-то в девятнадцатом веке…

Как я тебе раньше говорил, я вступил в ЛААП. Нашей группой руководил прозаик Владимир Ставский. Сейчас о нём чаще всего говорят в связи с боевыми страницами его судьбы на Халхин-Голе и в связи с его участием в Великой Отечественной войне. Ты же знаешь, что он погиб под Невелем, приняв на себя командование полком. Как-то в сторону отошли главы его довоенной биографии. Могу сказать, что он был очень способным организатором, человеком активным, решительным. Недаром все эти качества пригодились ему на посту руководителя Союза писателей СССР. Уже тогда мы все видели, что он не по-книжному знает военное дело, что он готов к боевым действиям. Под крылом Ставского в ЛенЛА-АПе были лишь начинавший тогда свой путь в литературе Юрий Герман и Пётр Сажин, который стал куда более известен, чем в довоенную пору, в годы войны как военный прозаик и очеркист. С Сажиным мы общаемся и сейчас: он непременный активист всех военно-исторических дел в нашей Московской писательской организации.

Как ты, наверное, помнишь по курсу истории советской литературы, считается, что в ЛААПе были почти исключительно авторы из числа рабочих. Вовсе нет! Тому пример – ярославец родом из крестьян и знаток крестьянской жизни *Иван* Никитин. Прошу не путать с куда более известным *Николаем* Никитиным!

Издательская моя деятельность как основная завершилась *переходом* (фактически – *переводом*) в штат Дома печати, открытого в 1929 году. Напоминаю, что Дом печати в довоенные годы был не просто клубом, а фактически *предшественником* того Союза журналистов, в котором ты сейчас состоишь. У нас были и Кабинет начинающего автора, и рабселькоровские курсы и консультации, и лекции, и творческие встречи и дискуссии, и своя очень, между прочим, популярная стенгазета. Более того, у нас было то, чего нет ни в Ленинградской, ни в Московской организациях Союза журналистов СССР в нынешнее время: *театр Малых форм*\ Меня определили основателем этого театра, его директором и заведующим репертуарным отделом. Главным режиссёром у нас стал В. Н. Соловьёв, который привлёк к работе театра хороших артистов. Что же касается репертуара, то почти весь он в той или иной мере принадлежал моему перу. Ты видал в моём домашнем архиве афишу нашего спектакля *«Алло, Запад!»* Мы даже возили этот спектакль на гастроли в Москву.

По рассказу Михаила Зощенко «Аристократка» мы сочинили… *балет* \ Танцевали балерины из Малого театра оперы и балета. Зощенко, который в повседневной жизни улыбался крайне редко, глядя на балет по его рассказу, хохотал до слёз! Вот тебе пример любимой твоей темы *«Синтез искусств»* – к вопросу о трансформации видов и жанров искусства.

И всё же финансы Дома печати тормозили наше дело. Тогда мы приняли решение перестроить театр в *Театр Чтеца.* Одной из главных исполнительниц была молодая жена Леонида Соболева и дочь певца Атлантова-старшего Ольга. В репертуаре у нас была преимущественно русская классика прозы.

Вообще периоде 1931 года по 1935 год – время моего обострённого увлечения искусством театра. Именно тогда я уже примеривался к большинству своих пьес позднего периода – и о судьбе Михаила Ивановича Глинки, и о Пьере Дегейтере, и о Бернарде Шоу.

Именно в ту пору (не считая вторую половину 50-х годов с переходом на начало годов 60-х) я написал самое большое число театральных рецензий, обзоров, статей – когда по своей

фамилией, когда – под псевдонимом, а когда – и без подписи. В ту пору было в нашем Ленинграде немало театров, высоко ценились премьеры, несравнимо больше, чем ныне, уделялось внимание новинкам на современную тематику. Да и было где печататься! Одним из моих любимых журналов был *«Рабочий и театр».* Печатался как критик театра я и в Москве, и в газетах. Не скрою, это к тому же был весьма солидный приработок. Платили неплохо, публиковали быстро! Не сопоставить с тем положением, которое сложилось к концу 60-х – началу 70-х годов.

Только ты не думай, будто я считаю предвоенную пору каким-то сплошным раем. Жилось тяжело. Возникли карточки, которые отнюдь не вселяли вдохновения, но всё же были отменены, и к самому концу 30-х годов дела явно пошли на поправку. Тем более радовали нас всех успехи, достижения, пусть и не очень броские.

Это – в сфере материальной. Что же касается сферы духовной, то могу сказать со всей ответственностью: *такого душевного морального климата с тех пор я не могу припомнить.* Это вовсе не означает, что не было столкновений, противостояний, вражды в наших, художественных, кругах, но… Помнишь, ты как-то меня спросил: «Почему идёт на спад секционная работа в творческих союзах и прежде всего в писательских организациях?». Напомню тебе, что я тогда ответил. Секционная работа – это откровенность и доброжелательность в обсуждении книг, спектаклей, фильмов и особенно рукописей. (Ты понимаешь, почему! Провал рукописи мог вызвать в редакциях разного рода быструю реакцию, «детонировать летальный исход», как горько пошутил один мой приятель, литератор-ветеран.) Так вот, непременные условия: *принципиальная общность позиций* и *хотя бы примерно одинаковый на каком-то рубеже, каком-то этапе уровень собравшихся.* Если этого нет, любое обсуждение, любая дискуссия обречены. Вот почему у нас в Московской писательской организации всё чаще и чаще стали обсуждения заменять лекциями, встречами со специалистами тех или иных отраслей знаний, «смежниками», как у нас любят говорить о коллегах по Парнасу. Во время подобных встреч и отдельные критические замечания не так обидны: например, юрист подчеркнёт несуразности в художественных произведениях о правопорядке, физик-ядерщик мягко пожурит за то, что цифры такие при таких-то испытаниях завысил автор, и т. д. Тем более, что почти всё это легко исправимо, как у нас в довоенную пору говорили, *«это легко исправить: это РЕДАКЦИОННО*», то есть переосмысливать, переписывать заново не надо, стоит зачастую лишь строку, абзац, ну, страницу переписать! Так на то и есть *творческий процесс*!

Я помню, как ты справедливо порадовался выходу в свет в издательстве «Наука» книги З. Степанова о культурной жизни Ленинграда конца 20-х – первой половины 30-х годов. Я сразу же стал искать эту книгу и нашёл вскоре её в нашей Рабочей комнате писателя. (Молодцы! Какая оперативность!) С одной стороны, я радовался, вспоминая отрадные факты, явления, примеры, а с другой – всё больше печалился: сперва вторая половина 30-х годов, а затем война почти всё свели на нет. Возродить, восстановить почти ничего не удалось, несмотря на многие отчаянные попытки!

Чрезвычайно болезненная и трудная тема. Мы с тобой её в письмах и в беседах не решим, а только обозначим, но и это обозначение пойдёт на пользу поиска истины.

Ты сравнительно недавно писал мне о том, что тебе поручили написать справку-статью об опыте литкружков и объединений в Ленинграде. Думаю, что и сейчас этот опыт – самый передовой в масштабах страны, правда, уровень педагогов понизился. А в довоенную пору мастера литературы не гнушались вести какой-нибудь маленький заводской кружок. *Откомандирование писателя в такие кружки считалось делом почётным.* У меня сохранилось такое направление за подписью очень доброжелательного, с несомненными педагогическими способностями литератора Алексея Крайского, любимца молодыхлитераторов. Мне довелось вести кружки на Балтийском заводе и на заводе «Красный гвоздильщик».

Если в пору издательской работы я подружился с полиграфистами, особенно – с ветеранами печати начала XX века, то на новом этапе я увидел воочию *черты обновлённого рабочего класса,* лучше узнал производственную жизнь в целом. Посему, когда прекратил свою деятельность наш театр при Доме печати и закрылся театральный журнал, я довольно легко освоился на фабрике имени Анисимова, где мы сравнительно быстро наладили выпуск многотиражной газеты. Вот этот эпизод не вошёл в мои анкеты, потому что его затмил мой переезд в Донбасс на корпункт «Известий». Там, в Донбассе, мне предложили совмещать работу для «Известий» с работой в областной газете «Социалистический Донбасс». Вот там-то я и познакомился с такими всесоюзными знаменитостями, как Стаханов, Изотов, сталевары *Коробовы,* ставшие героями моего сценария «Отец и сын» (там они у меня *Колобовы,* но сути характеров подлинные).

Историки литературы о трансформации литературной жизни после Первого съезда Союза писателей СССР чаще всего говорят лишь позитивно, но ведь были и утраты, которые затем восполнить не удалось. Закрылись пролетарские журналы «Резец» и «На стройке». Почему-то очень заметно стала ослабевать мощность издательской базы. Публиковаться, особенно печатать новинки становилось всё труднее. Вот по этим причинам уехали в Москву активные литераторы Пётр Сажин и Павел Лукницкий. Это, можно сказать, первые «птицы», покинувшие невское «гнездо». О потерях блокадных, военных лет и говорить нечего! Были и послевоенные переезды. О них мы как-то с горечью говорили в Москве с Ольгой Фёдоровной Берггольц. Эти «отъезда-отлёты» истинных ленинградцев не радовали. А затем закрылся и весьма солидный полутолстый журнал «Литературный современник». Большая потеря для нашего города! Закрылись и детские журналы «Чиж» и «Ёж». Огромный город и прилегающие к нему земли Северо-Запада оказались на голодном издательском пайке: ведь *всесоюзные* журналы по сути становились *московскими, а российских* тогда ещё не существовало.

Меньше стало и театров. Впрочем, это особая и очень сложная тема. Даже зрительно помню: театральная афиша Ленинграда сталараза *в три* короче!

Трудности одолели и «Ленфильм». Студия стала терять самостоятельность и, увы, тот огромный авторитет, который завоевала своими достижениями. Снизились и темпы производства. Мой фильм «Отец и сын», не очень-то сложный в производственном отношении, снимался аж *три года*! Как ты знаешь, «Певца из Лилля» не завершили из-за начала войны. И всё-таки доснять, доработать, восстановить его было бы можно, но в блокадном огне сгорел негатив! Это была роковая потеря. В Москву стали навсегда перебираться опытные кинематографисты, прежде всего сценаристы. Рядовые штатные работники такой роскоши себе позволить не могли. Одни в годы блокады попали в эвакуацию, другие (их большинство) погибли в блокадном городе. Во всяком случае после войны, зайдя на «Ленфильм», который в конце 30-х годов стал моим родным домом, я не встретил НИКОГО из тех, с кем общался в довоенную пору.

Я в этом письме не пишу тебе о своей сценарной работе в годы блокады, потому что сохранилась довольно состоятельная справка[34]. Я тебе её как-нибудь покажу. У меня вообще много чего интересного, а порою и уникального есть в чудом сохранившемся архиве, и мне хочется верить, что со временем ты (как мой наследник) сумеешь им достойно распорядиться.

29–30 ноября 1911 года

---

[34] Речь идёт о творческом отчёте Н.А. Сотникова в Ленинградское отделение Союза писателей. Этот очерковавный документ печатается в нашем томе под заголовком *«Вот мой отчёт перед Победой»* в разделе *«От берегов Невы до берегов Шпрее».*

Н.Н. Сотников. Газета становится книгами

Сегодня у меня особый день – надежд и тревог. В Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина заказаны две довоенные документально-публицистически е книги отца. Те экземпляры, которые принадлежали лично ему, сгорели в комнате на Мойке. Найти после войны дубликаты не удалось, а по памяти восстановить такого рода тексты никак нельзя!

И вот библиотекарша с улыбкой обращается ко мне: «Не волнуйтесь! У нас в библиотеке книги эти нашлись…».

Начинаю с первой по хронологии. «ВОКРУГ ЕВРОПЫ на "Украине"» ОГИЗ, серия *«Физкультура и туризм»,* 1932 год. Обложка более чем скромная. Страницы не первой свежести: вероятно, её читали за минувшие годы многие. А ведь и впрямь интересно: первый туристский круиз вокруг Европы. Это – форма поощрения передовиков производства. Организаторы – ВЦСПС (*Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов*) и Общество пролетарского туризма и экспедиций. Участников круиза было 350 человек, путешествие продолжалось 35 дней. Ого! Какой большой отпуск получили передовики!

По классу кают шла разбивка согласно ТРУДОВОГО СТАЖА. Молодые рабочие отправлялись в каюты третьего класса. Старики впервые в жизни смогли оценить, что такое комфорт. Что же касается еды, то особых деликатесов не предусматривалось: сытно, вкусно, но никаких чудес кулинарии. На завтрак, например, рабочие-интуристы получали чай, хлеб, масло и сыр.

Никакой особой, тем более интенсивной политико-массовой работы среди пассажиров не предусматривалось, но во время заходов в те или иные иностранные порты и экскурсий они видели *всё* сами своими глазами. Порою им помогали пояснения, переводы с европейских языков и с турецкого, так как и Турция, сравнительно благополучная времён Кемаля Ататюрка, тоже входила в маршрут.

Сама поездка с вопиющими контрастами как *«у них»* и как *«у нас»* была успешным агитатором: во время рейса 45 беспартийных (а это примерно 1/8 от общего числа) вступили в ряды ВКП(б)!

Один из участников круиза (а Н. А. Сотников опросил *десятки* туристов) прямо заявил: «В городах, где мы побывали, мы ясно видели, что революция здесь не за горами!», а немецкие комсомольцы на вопрос «Когда у вас будет революция?» уверенно отвечали: «Скоро, в этом году, через год, но не позже!» Как мы знаем, в 1933 году к власти пришли совершенно иные силы – фашистские, но надежды симптоматичны: вопреки заявлениям нынешних «правоверных» историков, инерция революционных выступлений конца десятых – начала двадцатых годов была очень велика.

Встретились наши туристы и с яркими проявлениями итальянского фашизма: им поведали, что при Муссолини можно было получить 20–25 лет тюремного заключения *только за сочувствие* идеям Итальянской коммунистической партии!

И в то же время рабочих, среди которых было немало машиностроителей, своей технической оснащённостью поразила фирма «Фиат». В книге неизменный интерес вызывал испытательный полигон (в виде трибун с ребристой, как у стиральной доски, дорогой). Фотографии, правда, качества низкого, но и бумага-то газетная!

Итак, с одной стороны – блеск испытательной автотрассы в Италии, а с другой – живая реклама в окнах стамбульских окраин проституции (обнаженные рабыни секс-бизнеса лежат на диванчиках прямо в витринах, за стеклом). Это зрелище произвело на наших туристов отвращающее впечатление!

Потрясло наших рабочих почти во всех странах то, что еда значительно дороже вещей, в том числе обуви, одежды. Наши были одеты чисто, опрятно, но по европейским канонам убого и немодно.

Искренно, до слёз, наших людей тронуло исполнение итальянскими крестьянами на губных гармошках «Интернационала» – ведь и провожали наш пароход в долгий путь с красными флагами и под гимн «Интернационал».

Как профессиональный издательский редактор не могу не обратить внимание на то, что имя автора комментариев, составителя и интервьюера напечатано на корешке книги: «И. СОТНИКОВ». Тираж по тем временам скромный, а по нынешним – весьма солидный: 15 000 экземпляров. Не сомневаюсь, что интерес к книге был большой: ведь одно дело пропагандистские статьи и радиопередачи, а другое – коротенькие, но впечатляющие рассказы об увиденном рядовых рабочих-производственников, не обязательно очень квалифицированных, но непременно передовиков.

* * *

История второй книги принципиально иная: в первом случае идея исходила от автора-журналиста, газетчика, а вот идея собрать наиболее интересные и поучительные материалы из «Вечерней Красной газеты», которые шли преимущественно по отделу городского хозяйства, принадлежала Сергею Мироновичу Кирову. При очередной встрече с Н. А. Сотниковым (а отец не раз бывал в кабинете Кирова) он предложил: «А что если мы общими усилиями сделаем своеобразный отчёт перед ленинградцами, как мы осуществляем программу сделать наш город образцовым? Вот Вы и возьмитесь за это дело!»

В 1934 году выходит в свет книга *«Город образцовый»*. Тираж 8 000 экземпляров. Составлена она была почти исключительно по материалам газетных публикаций, но какие-то тексты дополнялись, данные уточнялись – ведь время-то шло, и менялись в сторону роста и цифры.

И всё же авторское начало присутствует. С первых же страниц возникает интонация как бы ведущего-экскурсовода, который с читателями объезжает городские окраины. Обновлять их, благоустраивать было признано первейшим делом. Мне отец рассказывал, что на его вопрос, какие будут пределы роста города, Киров твёрдо ответил: «Амы и не думаем делать город-гигант! Вот наведём порядок, решим первейшие задачи и примемся за благоустройство центра, старых районов. Вот где широкое поле деятельности! Рядом с дивными сооружениями какие-то одноэтажные халупы, сараи, немало и просто аварийных! Построить бы новые здания, благоустроенные, хорошо, со вкусом вписать их в гряду достойных домов – вот воистину увлекательнейшая задача для архитекторов и строителей!»

… Ныне, направляясь по делам или на прогулки по моим самым родным старым районам города, я вижу, что мечты Кирова не сбылись. Даже кирпичные дома с низкими потолками, убогими окнами, зажатые между красавцами конца XIX – начала XX веков, воспринимаются чужеродно. Ныне на многих стёклах бумажные буквы: «ПРОДАЁТСЯ». Висят эти буквы *годами.* Нет спроса. Слишком велик контраст. Послевоенные новостройки и в центре смели наплодить своих деток-уродцев!

Читатель книги *«Город образцовый»* сделает для себя немало волнующих открытий: например, *построить дамбу для защиты города от наводнений планировал Киров.* Срок исполнения – пять лет, с 1934 года по 1939 год. Это должна была быть стена длиной в 23 километра, соединяющая Ораниенбаум с Кронштадтом и Лисьим Носом. Для сдерживания воды предусматривались чугунные ворота особой конструкции. Разработку предварительных проектов проводил профессор С. А. Советов.

Вот тебе и лозунг небезызвестного Романова: *«Ленинградцы! Ответим самоотверженным трудом на заботу партии и правительства!»* А некоторые газетчики-подхалюзники буквально стонали: *«Спасибо партии за дамбу!»* Так что «отец» дамбы не Романов, а Киров. И так – практически во всём!

Много шума было в ленинградских газетах в связи с необходимостью строительства в нашем городе крематория. Были негодяи, которые даже по этому поводу иронизировали! В журнале «Архитектура и строительство Ленинграда» публиковались основные проектные чертежи. Всё это ещё при Толстикове выдавалось тоже за заботу партии и правительства о народе! А ведь оказывается, ещё сам Киров планировал переустройства некоторых прилегающих к Александр о-Невской Лавре территорий (они тогда являли из себя зрелище строений из повестей романтиков начала XIX века!). Решительно и очень строго решался комплекс возникающих при этом экологических проблем (тогда ЭТОГО термина не было), особенно гари и дыма из труб!

Большое внимание уделялось транспорту. Книга пропагандировала трёхостные автобусы (имеется фотография) которые Киров хотел пустить на главных маршрутах. Ставился вопрос о такси, но, увы, город эту проблему без всесоюзного автомобилестроения решить не мог: почти все автотакси были зарубежных марок. В жизнь ТОГДА они входили очень трудно. Лишь к концу 30-х годов эмки стали на улицах привычными, и «прокатиться на такси» стало не диковинкой, а приметой городского быта.

Касалась книга и давнего исторического прошлого территории нашего города и его окрестностей. Мне лично запомнились две цифры – примерно 2 000 жителей и 46 сёл и деревень. Вот тебе и пушкинская гипербола: *«По низким топким берегам чернели избы здесь и там – приют убогого чухонца*»!

И всё же, думается, недаром тираж был определён по тем временам скромный: книга предназначалась не столько *«широким читательским кругам»,* как любят сообщать в аннотациях наши издатели и поныне, а преимущественно для хозяйственников разного ранга, специалистов, причём, не только ленинградских: отец вспоминал, что значительная часть тиража была направлена в наиболее крупные города России и других союзных республик. «Для *распространения передового опыта»,* как тогда часто говорилось.

Скажем прямо и честно: художественного значения сейчас эти две книги не имеют, но как исторический источник они чрезвычайно ценны и полезны. И я счастлив, что могу с полным правом сказать о них хотя бы короткое слово.

А. Н. Рубакин. Отзыв русского парижанина. (Из письма доктора А. Н. Рубахина Н. А. Сотникову)

Дорогой Николай Афанасьевич!

Прежде всего, каюсь перед Вами, что до сих пор не ответил на Ваше любезное письмо. Здесь я совершенно замотался в последнее время с работой – текущей и научной. Мною были сделаны два сообщения Французской Медицинской академии, которые возбудили яростную полемику во всей печати, не только медицинской[35]. В результате мне пришлось давать ряд интервью журналистам, писать ряд статей для газет и журналов по поводу моих сообщений в Академии. Вдобавок я заканчиваю книгу по затронутому мною вопросу. Кроме того, пришлось сделать доклад об СССР в обществе друзей СССР. И всё это – при интенсивной работе «ради хлеба насущного».

Этим летом я надеюсь несколько освободиться и съездить в СССР, а может быть и остаться на работу, как мне было предложено[36]. Тогда, вероятно, я с Вами и повидаюсь, когда приеду в мой родной город – *Ленинград.*

Вот по поводу моего родного города я и хотел Вам написать. Я там не был с осени 1931 года, а с тех пор многое изменилось, как отчасти я могу судить и по Вашей книжке *«Город образцовый».* Я её читали перечитывал, вспоминал всю мою жизнь в родном городе. Я ведь знаю его насквозь, начиная с улиц, учебных заведений. Получив среднее образование, я учился в университете в 1906–1907 годах вплоть до моего ареста и ссылки в Сибирь, откуда я бежал за границу в 1908 году. Мое «высшее образование» в ту эпоху проходило больше по тюрьмам: я сидел в *пяти* петербургских тюрьмах, и, может быть, многие из моих товарищей по революционной работе в подполье ещё живы, если не погибли в Гражданской войне, как погиб мой брат и многие другие из близких людей.

Знаете, что меня смутило в Вашей книжке? Вы недостаточно выявили факты в историческом разрезе. Петербург и до Революции рос и технически развивался, хотя положение рабочих в нём было отчаянное! Наверное, следовало больше сказать о разрухе времён войны и показать, что новый рост города начался сравнительно недавно – со времён первой пятилетки.

Не могу не сказать о современной Франции, которую я знаю достаточно хорошо. Я провёл большую часть своих заграничных лет в Париже. Только за двадцать лет выстроено свыше ста километров метро, много новостроек, но почти ПОЛОВИНА новых домов пустует: нет жильцов, квартиры слишком дороги. Но, между тем, вы редко где найдёте дом без газа, без электричества, канализации и водопровода – и не только в самом Париже, но и в километрах тридцати вокруг.

Повсюду асфальт, бензиновые колонки – повсюду. В одном только Париже свыше 300 000 автомобилей, из них около 15 000 такси плюс 2 500 автобусов на СТА с лишним линиях.

Вот Вы пишите о ленинградском трамвае и сравниваете его с конкой. В Париже последняя конка исчезла в 1908 году.

Так что о *техническом сравнении* здесь нам говорить не приходится. Другое дело *сравнение социальное*! При всём комфорте, при невероятном разнообразии товаров рабочие

---

[35] По контексту писем понять, какой (какие) доклады Н. А. Рубакина вызвали в буржуазной прессе Франции такой переполох нельзя, но изучение его жизни и творчества, знакомство с его несомненно левыми политическими взглядами позволяют сделать предположение о том, что он подверг, как врач-гигиенист и специалист по *социал-гигиене* (более поздний термин науки о здоровье общества), резкой критике положение неимущих и прежде всего трудящихся.

[36] Эта мечта Н. А. Рубакина не сбылась в довоенную пору Окончательно вернулся он на Родину, с которой духовно никогда не порывал, в послевоенные годы. В итоге он стал профессором Первого медицинского института в Москве и был принят в члены Союза писателей за документально-публицистические произведения.

сидят без работы, живут на жалкое пособие, фабрики и заводы закрываются, в магазинах число покупателей снизилось на глазах до минимума.

А между тем в СССР в целом и в Ленинграде особенно произошёл невероятный социальный сдвиг. Народ вырос культурно, создано воистину новое общество. Вы уж меня извините, Николай Афанасьевич, но я пишу о Ленинграде сейчас как бы с позиции иностранца, перед которым (представьте себе, что он – турист) бытовой дискомфорт может заслонить создание новых социальных форм, при которых нет места нищете, безработице, социальному неравенству.

Когда я пишу Вам о техническом отставании, я имею в виду, конечно, не феноменальные стройки в СССР типа Днепростроя, а жизнь повседневную, бытовую, в том числе и сантехнику, которой я, как врач-гигиенист, уделяю особое внимание.

В целом же Ваша книжка мне очень поможет в лекционной работе: ведь я во Франции постоянно читаю лекции о Советском Союзе. Выступал я не раз и в Америке и всегда говорил о том, что в странах Запада организационно даже легче провести социальные преобразования. Весь вопрос – в распределении их! Но социально и психологически на Западе революцию свершить куда труднее: буржуазия богата, многочисленна, а главное – сорганизована невероятно!

До следующего письма.

Крепко жму Вашу руку.

Н.А.Рубакин

Париж, 15 марта 1935 года

Н.А. Сотников. Напутствие путнику. (Как я работал над фильмом о жизни буддистов в СССР)

Если с православием я был знаком, можно сказать, с детства, с первых уроков закона божьего в Полтавском реальном училище, о чём я рассказал в очерке «*Три встречи с будущим патриархом»,* то буддизм для меня оставался тайной и загадкой. Детство и юность я провёл на Украине, где буддистов не встречалось. С бурятами, калмыками и тувинцами, то есть народами, представители которого традиционно исповедуют буддизм, судьба меня тогда не сводила. В Москве, а затем в Ленинграде журналистская, кинематографическая и редакционно-издательская практика тоже была от буддизма далека. Единственно, что мне припоминается сейчас, так это упоминание в лекциях по архитектуре на Высших курсах искусствознания при Институте истории искусств, которые я с удовольствием и большой пользой для себя посещал, о буддийском храме, построенном в 1913 году в Петербурге при активном участии придворного лекаря знатока тибетской медицины Петра Бадмаева. Но, конечно же, разговор об этом храме шёл только с точки зрения архитектурной, да и вся лекция, помнится, была посвящена культовым сооружениям в Петербурге начала нашего века. Об обрядовой стороне буддизма речь не шла да, вероятно, и не могла идти: лекцию читал историк архитектуры, а не историк религии.

Во второй половине 50-х годов я вновь стал больше и писать, и путешествовать, несмотря на огромную загрузку штатной работой в аппарате Правления Союза писателей РСФСР, где я восемь лет был Ответственным секретарём Совета по драматургии. Творчество вообще – тайна тайн, загадка загадок! Бывает, что и время есть, и силы, и настроение, а пишется мало до обидного. А бывает так, что день занят до краёв, дела разные и разнообразные обрушиваются на тебя лавиной, но и рука, держащая перо, не устаёт, и тема зовёт новую тему. Думаю, что огромную роль играют общий настрой, и личный тонус. В конце 50-х годов образовался Российский писательский союз, на моих глазах проходило его становление, было много планов, забот, знакомств, встреч, очень расширилась география творческих связей и поездок. Не все мои коллеги, в том числе и зональные консультанты (кроме зональных были ещё и жанровые, к которым относился и я) любили дальние поездки да ещё в любое время года, да и не только в сторону тёплую, в сторону южную… А я с командировочным удостоверением и билетами на все виды транспорта, с маленьким чемоданом и старенькой верной пишущей машинкой чувствовал себя в дороге, как дома. Сказались и жажда странствий, и желание наверстать то, что было упущено в жизни, не увидано, не услышано, да и военная моя судьба и журналистская биография приучили меня к путям-дорогам. Я вовсе не против был максимально возможного комфорта и удобств, если они были реальны, ну а если нет, то и общий вагон немало давал знаний, сведений, сюжетов и тем. Помнятся и долгие ожидания на маленьких аэродромах и автовокзалах, и суда, на которых я плавал, далеко не всегда были пассажирскими.

Короче говоря, поездил я по российским городам немало! Особенно полюбил центральную Русь, исконную, которую потом стали именовать чуть ли ни исключительно Нечерноземьем, и Поволжье, и Северо-Восток, и Урал, и Дальний Восток… Вот в Сибири как-то побывать не довелось, о чём сейчас на старости лет очень сожалею. Кроме мест исконно русских, стал я всё чаще и чаще бывать в автономных республиках Российской Федерации. Среди драматургов этих республик у меня появилось немало друзей и учеников, с которыми я встречался впервые чаще всего в здании Правления Союза писателей РСФСР (оно тогда располагалось на Софийской набережной, потом ставшей набережной Мориса Тореза, напротив Кремля). Потом мы продолжали знакомство на творческих семинарах, как правило, месячных, *с отрывом от производства*, как говорится, в одном из домов творче-

ства. И уже затем, в итоге я отправлялся в ту или иную республику, имея представление о её драматургическом активе, репертуаре театров, издательской базе, положении дел с драматургией в республиканских писательских союзах.

Но, конечно, ничего нельзя сравнить с самой поездкой в ту или иную республику! Ехать желательно не просто так, а по делу, чтобы вокруг этого дела группировались впечатления, вершились знакомства, происходило накопление знаний, сведений, впечатлений. Лучше всего я узнал республики Поволжья и Дагестан, и другие автономные республики Северного Кавказа. Потом были Удмуртия, Карелия, Тува и Бурятия. В Туве я гостил совсем недолго и, честно говоря, никаких заметных следов буддизма не заметил, а вот поездке в Бурятию, длительной и целенаправленной, предшествовали события, о которых я хочу вам рассказать.

Среди пьес, которые я рецензировал в Правлении Союза писателей РСФСР, редко, но всё же порою попадались такие, что требовали дополнительной специальной консультации. Ну, скажем, юридической (если действие происходило в суде), исторической (помнится, шла речь об истории Урала), религиоведческой, и тогда мы чаще всего обращались в Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР. Вторая рецензия, итоговая, была уже чисто литературной. Так я познакомился со штатными сотрудниками аппарата Совета по культам и их внештатным активом. Слово за слово – и зашёл разговор о кино, об атеистической тематике в киноискусстве. Я был всегда зрителем увлечённым, прилежным и памятливым – с дореволюционных лет кинозалов завсегдатай. В качестве живого справочника я религиоведов и заинтересовал. А когда они узнали, что я занимался ещё с довоенных лет кинодраматургией, в частности, документальным и научно-популярным кино, мне предложили сделать заказной фильм минут на 20–30 *«Буддисты в СССР»* для зарубежной аудитории. Предполагалось две командировки в Бурятию – первая ознакомительная, вторая уже со съёмочной группой. И я решил свой очередной отпуск провести с пользой, полностью посвятив его будущему фильму.

Если заказной фильм о сборе ленинградскими верующими средств на танковую колонну имени Дмитрия Донского и эскадрилию имени Александра Невского в блокадном Ленинграде делался в экстремальных условиях, в спешке, то теперь времени было вполне достаточно.

Для начала я принялся зачтение, побывал в Музее восточного искусства в Москве. Сказать, что я просто-напросто, как водится, «нарабатывал» материал, я не могу. Это было вхождение в совершенно иной мир, иное измерение, иную культуру. Меня всегда интересовал *вопрос взаимосвязи национального и религиозного.* В последнее время он стал звучать определённее, конкретнее. В те годы, в конце 50-х, я на свои многочисленные вопросы получал ответы какие-то очень приблизительные, примерные. А я ими довольствоваться не мог! Материал-то у меня был конкретный и народ конкретный – буряты. Правда, буддизм в СССР исповедуют ещё и калмыки, и тувинцы. В Туве, как я уже говорил, я побывал. Калмыкию не знал совершенно. Мне было предложено взять за основу Бурятию, а какие-то исключения и отдельные положения давать в дикторском тексте. Можно было пользоваться фотографиями, книгами, но *вся натура предполагалась только бурятская.* Я стал этот тезис оспаривать с самого начала, но мне было сказано о дороговизне трёх киноэкспедиций в разные и весьма удалённые друг от друга концы. Работа над заказным фильмом имеет и плюсы, и минусы. Условия работы, конечно, льготные, но у фильма слишком много хозяев помимо киностудии. И каждый мнит себя знатоком кинодела. Вот в чём главная беда!..

Хорошо, как всегда, ремесленнику: что поручили, то и сделал, как поручили, так и сделал, – и всё, конечно, на некоем усреднённо-согласованном уровне. Тяжелее во сто крат человеку увлечённому. Я, например, темой загорелся и материалом овладел упоённо. «Инте-

ресно заглянуть в душу другому народу», – не раз говорил я своим ученикам – молодым драматургам, представляя им то или иное яркое национальное произведение.

И всё же узнал я Бурятию не по справочникам, не по книгам научным и научно-популярным. Её мне открыли драматург Цырен Шагжин, ставший моим другом, и поэты Николай Дамдинов и Дамба Жалсараев. Читал я их прозведения, конечно же, в переводе, а пьесы Шагжина так и в подстрочнике даже, задолго до их литературной обработки. А это очень хорошая школа познания новой для тебя национальной культуры!

Чаще всего нетрадиционной культурой считают у нас культуру экзотическую, например, из стран зарубежного Востока называют Японию, Китай, реже – Индию. Наши республики почему-то этой части не удостаиваются. Почему, никак не возьму в толк! Разве культуры наших малых народов не самобытны, не уникальны каждая по-своему?!

Мне всегда было интересно и обнаруживать черты общего, и открывать для себя черты неповторимости в каждом из народов, с которым мне посчастливилось познакомиться. Цырен Шагжин, например, потряс меня своей музыкальностью. Его песенный голос, на мой взгляд, – дар не меньший, чем его дар драматурга. Слушая его песни, я представлял себе весь тот мир природы и вещей, который окружает бурята, который его творит как личность. И в этом мире я не встретил ничего потустороннего, чуждого реальности бытия.

Цырен Шагжин рассказал мне о таком эпизоде из своей жизни. Как-то он на ГАЗике пересекал пустыню Гоби и повстречал караван верблюдов. Спутник Шагжина монгольский писатель представил кочевникам гостя из Бурятии.

– А мы его знаем, – дружно подтвердили монголы, – видели на сцене его спектакль «Хитрый Будмашу»!

Необычная встреча драматурга со своими зрителями, не правда ли?

Ох, уж этот хитрый Будмашу, бурятский брат среднеазиатского Хаджи Насредина, каракалпакского Омирбека, лакского Акул Али и других славных героев бессмертного фольклора! У Царена Шагжина он появляется на сцене с неизменной песенкой о себе и своём предназначении в народной судьбе:

Будамшу меня зовут,
песни обо мне поют.
Нету никого в стране,
кто б не слышал обо мне.
Богачу я злейший враг,
бедняку я друг и брат.
Чтит меня любой бедняк,
ненавидит, кто богат.

Я много впоследствии бурятских сказок перечитал, но такой, какую сочинил Цырен Шагжин, больше не встречал, да и его Будамшу помоложе того, что в бурятских сказках живёт, – совсем ещё юноша. Он один из самых обаятельных народных героев: весел, находчив, остроумен, справедлив. И вовсе не всегда ему везёт, и по роду занятий он – самый обыкновенный пастух. В сказках Будамшу удачливее и, если так можно выразиться, непобедимее. У Шагжина он очень простой, совсем земной парень, только с очень обострённым чувством справедливости и веры в то, что за эту справедливость надо бороться.

Этот Будамшу побывал не только у театральных зрителей Монголии, но и Калмыкии, Тувы, Татарии, Якутии, Хакасии… Впрочем, в этих республиках ставились и другие пьесы Шагжина. Не хочу сказать, что меня как драматурга, критика и педагога всегда и во всём радовал язык пьес Шагжина – мне казалось, что он злоупотребляет бытовыми темами, порою несколько упрощает язык героев, но вот законы сцены, психологию артиста он чув-

ствовал всегда превосходно. А это как раз и есть камень преткновения молодых драматургов! Разгадка? Шагжин не только драматург, но и актёр театра и кино. На сцене он сыграл свыше *шестидесяти* ролей, снимался в кинофильме «Пржевальский», вёл самостоятельную концертную деятельность как исполнитель бурятских народных песен. Выступал и как театральный режиссёр. К тому же Цырен – большой знаток родного фольклора. Вот откуда родом его славный Будамшу!

После окончания наших драматургических семинаров (а за месяц наши «семинаристы» успевали сделать сценическую редакцию пьесы, прослушать цикл лекций, встретиться с мастерами театрального искусства, обсудить *каждую пьесу* в учебных группах, побывать на экскурсиях, на театральных спектаклях, кинопросмотрах и т. д.) у нас проходил… Ну, конечно же, банкет, который мы в официальной программе именовали *«Товарищеским ужином».* Как правило, он приходился на последний перед разъездами вечер. За количеством и мерой потребления немногочисленных горячительных напитков я как руководитель семинара следил очень строго, а вот право импровизировать на вечере с шутками, скетчами, дружескими пародиями, сценками я предоставлял семинаристам. Да и сам с удовольствием приготавливал какой-нибудь сюрприз. Таким сюрпризом однажды я предложил концертное исполнение бурятских народных песен Цырена Шагжина, который предстал перед нами в другом качестве – народного певца. Мы слушали его, восхищались его голосом и живо представляли себе степи далёкой Бурятии…

Дни, а вернее недели, прожитые в Бурятии, были полны встреч, открытий и учёбы. Да, именно учёбы. Мне пришлось заняться изучением буддизма основательно. Первое, что меня поразило, это огромный объём тех знаний, сведений, которые можно посчитать лишь основами вероучения. Судите сами, при всей сложности и разноплановости текстов Библия всё же представляет из себя один том по объёму меньший, чем средний роман. Сравнительно невелик и однотомный Коран. А для посвящения в первый духовный чин буддисту требуются знания воистину фанатического объёма: 108 томов Ганджура и 228 книг Данджура, вроде как Ветхого и Нового завета. Для усвоения всей этой премудрости, повторяю – *лишь самых основ*, «соискателям» необходимо овладеть следующими языками: санскритом, тибетским, древнемонгольским, а также значительно усовершенствовать свои познания в родном бурятском языке.

Сколько же времени нужно потратить на все эти премудрости, на этот, выражаясь светским языком, «кандидатский минимум»? Не меньше двадцати лет! Поэтому в монахи издревле брали *хувараков,* восьми-девятилетних мальчиков-первенцев, что считалось для них и их родителей большой честью.

Поразили меня и сами древние книги. В дацане я не решился просить разрешения их полистать. Зато в библиотеке Бурятского комплексного научно-исследовательского института при Сибирском Отделении Академии Наук СССР мне такая возможность представилась. Это огромные книги. Длина – около метра, высота – более полуметра. Листы тяжёлые, картонные. Письмена, начертанные на них, остались для меня тайной, но осталось и общее ощущение огромности, чужедальности и практической непостижимости сего труда. По всей вероятности, в обозримом будущем не стоит и надеяться на перевод на русский язык таких объёмных сочинений. Так что представление о них я смог получить в основном в пересказе и устном и по тем книгам, которые мне довелось прочитать и тогда, в период сбора материала для киносценария, и впоследствии, ибо интерес к теме у меня сохранился на всю жизнь.

В институтской библиотеке я познакомился с бурятами – специалистами по буддологии. Каждый из них внёс свою лепту в мою копилку знаний, но больше всего внимания мне уделил Бизья Дандарон, человек большой учёности. Убеждённый атеист, он долгие годы дружил с одним начитанным ламой. По многим вопросам мировоззренческого характера они общий язык найти не смогли, но тем не менее их объединил интерес к древней истории

Востока, к текстологии, к восточным языкам. «Это ли не пример вполне возможного сотрудничества атеистов и служителей культа?» – думалось мне, когда я слушал его увлекательные рассказы.

Дандарон разложил несколько старинных книг на столах. Каждая из них почти целый стол занимала и была неимоверной толщины! Некоторые из этих книг лишь условно можно назвать рукописными – набора в современном понятии, конечно, не было, но тексты вырезались на деревянных досках и таким образом выполняли функции современных и матриц, и клише одновременно. Дандрон показывал и попутно выборочно переводил мне разные тексты, но меня больше всего заинтересовали *художественные произведения.* Так, в 14-м томе Данджура, оказывается, есть поэма о Будде, созданная восемнадцать веков назад индийцем Ашвагхошей, драма Чандрогомина «Локананда» и другие тексты, в том числе поэма «Облако-вестник» индийца Калидасы. К величайшему сожалению, мне тоже в основном пришлось довольствоваться пересказом, хотя некоторые фрагменты мне устно и перевели. Но нельзя же бессовестно эксплуатировать гостеприимных исследователей, людей занятых и углублённых в предмет своего исследования!

Основное я почерпнул из книг исследователей-буддологов. Посему не стану говорить о том, о чём сам узнал из этих трудов, прежде всего из сочинений А. Н. Кочетова «Буддизм» и «Ламаизм». Лучше расскажу о том, что *увидел лично я* в ту пору. Потом уже, продолжая интересоваться темой, я читал новые статьи и книги, и сейчас мне даже трудновато будет, так сказать, отсоединить то, что я узнал тогда, в период работы над фильмом, от того, что я постиг в последующие годы. Это – что касается теории и истории культа.

Когда я начал писать этот очерк, мне очень захотелось его связать с очерками предыдущими – *«Виктории полтавской юбилей»* и *«Три встречи с будущим патриархом».* Какие-то сравнения буддизма и христианства вставали передо мной постоянно, порою даже невольно, ибо, разумеется, христианство я знал лучше, и каждый раз спрашивал себя: «А как тот иной вопрос трактуется в буддизме?» Что же касается истории дома Романовых, то материал себя ждать не заставил.

Оказывается, Николай Романов, ещё будучи цесаревичем, по пути в Японию в 1891 году посетил Бурятию. Место его завтрака стало для ламаистов святыней – там впоследствии был построен храм. Ламаисты не скупились на телеграммы и иные послания по любому поводу, выражая свою верноподданность престолу. «Белый царь» для них был «обожаемый». Об этом вы сможете более подробно и обстоятельно прочитать в книге А. Н. Кочетова «Ламаизм» в главе «Социальная роль ламаизма при царизме».

В конце 50-х годов, разумеется, никаких следов такого рода почитания встретить было невозможно. Напротив, в молитвенных текстах вовсю звучали новые слова: *«производственные успехи», «колхозы», «коллектив», «труженики нашего района»* и т. д. Я вовсе не преувеличиваю. Вот первый *эпизод,* который я целиком включил в свой литературный сценарий.

Оказалось, что Герой Социалистического Труда чабан Балдан Дабаев, прославленный привесами и приплодами овец, был когда-то ламой и по старой памяти порою отправляет религиозные обряды.

… Летник в степи. Спят овцы в загоне. Меркнут в небе звёзды. Из-за дальней черты горизонта брызнул первый луч солнца. Старик раздул костёр, вскипятил чай, покропил горячими каплями во все стороны света и забормотал привычную молитву на родном языке.

Вот её перевод: *«В лесу ли – под сенью деревьев, в пустыне ли – среди песков, помните, о братья, о вещем Будде, и не будет у вас ни страха, ни сомнения… Видимые и невидимые существа! И те, кто близь меня, и те, кто далеко, да будут все счастливы.* Да *будет радостно всё сущее на земле…».*

Далее старый чабан говорит молитвенными словами о самых будничных, житейских делах: в своей молитве он тревожится за судьбу отары, надеется, что не нагрянут на овец злые хищники и ещё более злые болезненные силы? Не выветрили ли степные ветры из памяти бывшего ламы тибетские тексты старопечатных книг, хранящихся в дацанах?..

Угасает костёр на привале, двинулись отары в путь… По-молодому шагает среди своих подопечных Балдан Дабаев. Он и в старости встречает каждое утро в дороге.

Второй эпизод из сценария, тоже сугубо документальный, увиденный мною.

На холме виднеется *«обо»* – жертвенник, сложенный из придорожных белых камней в давние-предавние времена. Старики встречают путника – ламу облачённого в халат тёмно-оранжевого цвета, и просят его:

– Скажи, о лама, святые слова, чтобы лето было незасушливое, чтобы родился хороший урожай трав, чтобы сохранился весь колхозный скот и дал добрый приплод, чтобы всё благоприятствовало нашей мирной жизни.

Вот какой разговор ведётся! Что в нём собственно религиозно-мистического? Думается, только объект обращения.

Курится благовонная трава, зажжённая ламой. Возле жертвенника-камня разложены приношения «странам света»: немного чая, несколько калачей, кусок мяса, сосуд с вином. Помочив безымянный палец в этом сосуде, лама побрызгал вином в разные стороны света и принялся читать молитву на непонятном для слушателей языке, явно не бурятском, а тибетском. На мой вопрос, о чём молитва, лама ответил так: «О ниспослании мирной и благополучной жизни на землю». То есть вновь речь и на тибетском языке идёт о делах и чаяниях земных, мирских.

И пошли старики-пенсионеры по кругу, делая круг за кругом вокруг *«обо»,* твердя какие-то, им самим непонятные слова.

Третий эпизод. Жилище бурята-колхозника. Вот домашняя божница *«гунгарва»*, небольшой ступенчатый алтарь с жертвенными чашечками «*тахилами*», наполненными водой и пищей для невидимых богов. Видал я *«тахилы»* с зерном и даже с кусочками леденцов. А рядом висел, колыхаясь на ветру, молитвенный колокольчик «*хонко*» для привлечения внимания божеств к угощению. А вот и сами божества – медные, глиняные…

Здороваемся со старой буряткой. Зовут её Балжима. О чём она молится? О хорошей жизни для родных и близких просит эта престарелая колхозница. Недолгая у неё молитва. С грустью задумывается она о судьбе своих божков. «*Гунгарву*» принято передавать *только прямым наследникам.* А наследники живут в райцентре и в Улан-Удэ, озабочены делами квартирными, учебными, сын копит деньги на мотоцикл с коляской. Неужели Балжима – последний в роду верующий человек?! Божков у неё много. Не возьмут их с собою дети, если она навсегда закроет глаза. Значит, всё это унесёт прохожий лама, который, может, и закроет глаза умершей старухе.

Вот почему накапливаются культовые предметы в кладовых дацанов. То, что имеет художественную ценность, ещё может встретить зрителя и ценителя, а предметы простые, заурядные остаются в темноте.

Забегая вперёд, скажу, что в Иволгинском дацане мне разрешили осмотреть такую кладовую. В хранилище оказались и маски для буддистской мистерии «*цам*» (вы, может быть, помните сцены изображающие мистерию из кинофильма Всеволода Пудовкина «Потомок Чингизхана»?), и фривольные статуэтки *«яман-лаги»,* и божки-уродцы… Как я понял, туда попало всё то, что либо не участвует в нынешних ритуалах, либо находится на периферии культа по разным причинам.

Но и здесь, в кладовых, встречаются произведения подлинного искусства. Какие сильные родники талантов били в душе предков современных бурят! Сколько неведомых перво-

классных мастеров выходцев из самой народной гущи, создавали эти культовые предметы! Ведь *другого* истока для родников тогда не было!

Вот удивительная своей реалистичностью, своим психологизмом статуэтка молящегося, созданная безымянным ваятелем – бурятом из Оронга. Вот реалистическое изображение ламы. А вот и просто скульптурный портрет бурята-труженика, выполненный в начале нашего века. Воистину необычайная выставка заточённых во тьме кладовой произведений народного творчества!

На бурятской земле хранятся и ценности буддийского искусства, привезённые из далёких краёв. Например, статуя из вечно пахучего сандалового дерева старой непальской работы, творения мастеров из Индии…

И всё же больше всего меня увлекла культура Бурятии. Драматургию я немного уже знал, к поэзии и прозе стал понемногу приобщаться. А вот музыкальное искусство Бурятии открылось для меня впервые во время этой летней поездки. В Улан-У^э в театре оперы и балета я с большим удовольствием слушал великолепного певца АхасаранаЛинховоина, любовался тончайшим искусством балерины Ларисы Сахьяновой.

Побывал я и на стекольном заводе, где познакомился со знаменитым мастером резчиком стекла Янтуевым. Мы с ним разговорились о его работе, о мастерстве, о приёмах резания стекла, перешёл постепенно разговор в сферу искусства, а там и дошёл до буддизма. Оказалось, что этот передовой мастер верующий, что он преклоняется перед чудесами древности буддизма. Я решил дать ему в своём фильме слово. Это будет интересно и правдиво.

Хотел я найти верующих среди людей других профессий. Беседовал со слесарем Очировым, лётчиком Ублевым, который вёл наш самолёт из Иркутска в Улан-Удэ над Байкалом, с прохожими в райцентрах и в Улан-Удэ… Результат оказался нулевым: в лучшем случае кто-то упоминал места, где есть дацаны, кто-то вспоминал ту или иную статью о буддизме в печати, одна женщина, помнится, сослалась на радиопередачу республиканского радио. И всё.

Конечно, я не ставил перед собою цель провести какое-то глубокое исследование – просто обычный приём в очеркистской работе применил. Правда, одна старая бурятка в скверике в Улан-У^э, говоря о своей молодости, напела мне давнюю песню и тут же перевала её: *«Жизнь бурята была подобна дню без солнца, реке без воды, весне без цветов».* Очень поэтично и трогательно!

Думая об этой старой бурятке и об одинокой колхознице, ныне пенсионерке Балжиме, я вспомнил пьесу своего друга Цырена Шагжина «Чёрт в сундуке», её главную героиню старую Буму, которую одурачил прохожий проходимец, выдавший себя за буддийского святого – *бурхана,* то есть обожествлённого ламу. Шагжин посмеивается незлобливо над Бумой, она ему глубоко симпатична, и всё же он её жалеет, укоряет за доверчивость, за наивность. Теперь я понимаю, почему пьесы Цырена не вызывают раздражения у верующих: он умеет найти с ними свой, сценический язык. Ведь не обиделись же верующие монголы на куда более острую и хлёсткую пьесу Шагжина – «Хитрый Будамшу», где народный герой одерживает победу над ламой и местными богатеями!

… Ну, вот теперь я готов для «паломничества» в дацан, в Иволгу. Находится Иволга в 38 километрах к югу от Улан-Удэ. Добрался я туда на такси, словно до подмосковного посёлка. О моём визите глава буддийской церкви в СССР бандидо-хамба-лама Еши Доржи Шарапов был предупреждён заранее. Он ждал меня в своём храме «Тысячи будд», в своей резиденции. Сан его переводится так: ***«учёный первенствующий лама».***

Поначалу Еши Доржи Шарапов решил сделать для меня официальное заявление и вообще, он был сперва настроен на сугубо официальную, чуть ли ни протокольную беседу:

«В Центральное духовное управление буддистов в СССР нередко приходят из-за рубежа письма, в которых встречаются строки, проникнутые сомнением – существует ли

в Советском Союзе свобода вероисповеданий? Мы решительно протестуем против подобных утверждений. Повсюду, где исповедуется буддизм, верующие поддерживают свои храмы, сохраняют культовые реликвии и отправляют религиозные обряды. Двери нашего дацана открыты для всех желающих…».

Этот текст я записал. Он, конечно, пригодится как официальное заявление официального главы буддийской церкви, но как драматург от такого текста, я, конечно, в восторг не пришёл. Вдруг Шарапов улыбнулся, легко склонил ко мне голову и уже иным менее официальным тоном добавил:

– Надеюсь, что вы как драматург, как автор будущего фильма о буддийской церкви в СССР, предназначенного к показу преимущественно за границей в странах, исповедующих буддизм, передадите буддийскому миру правдивую весть о нашем народе, процветающим под солнцем благодатного мира…

Это у него получилось очень доверительно и в то же время торжественно. Я в своей работе никогда и не думал, что занимаюсь тем, что *«передаю миру правдивые вести»,* а ведь, по сути дела, так и должно быть в литературе, искусстве и публицистике!

Беседа наша проходила в рабочем кабинете Шарапова. Кабинет как кабинет. Особой экзотичности я не обнаружил. На столе множество писем и, что характерно, безусловно преобладают зарубежные марки и конверты.

– Вот ещё ряд писем, – продолжает Шарапов. – В них вопросы о том, не слишком ли мало в СССР буддийских культовых сооружений. Действительно, у нас не так много монастырей и храмов, как в странах Юго-Восточной Азии, но население тех районов нашей страны, где живут буддисты, несравнимо меньше.

Затем Шарапов сказал несколько слов о калмыцком храме в Енотаевске и о тувинских лесных *часовнях – субарганах.* В первой беседе подробно останавливаться на особенностях и отличиях буддизма в Туве и Калмыкии я не стал, ибо вольно-невольно пришлось бы перейти к вопросу о том, а бывал ли там сам бандидо-хамбо-лама. А вдруг по каким-то причинам ему этот вопрос не очень-то понравится?.. Края это далёкие от Улан-Удэ, возраст у Шарапова более чем пожилой.

Короче говоря, мы сразу перешли к истории буддизма в СССР. Тут особенно ничего нового я не услышал. Всё это весьма обстоятельно изложено в книгах советских учёных-буддологов. Правда, Шарапов особенно подчеркнул, что все бандидо-хамбо-ламы в России и в СССР были начиная с Доржи Заяева (с 1764 года) *бурятами.*

Очень мне хотелось Шарапова попросить рассказать о себе, но никак не мог на это отважиться. Ведь придётся встречаться ещё раз – перед кинокамерой. Это как бы репетиция, проба. И в этом коренное отличие работы *над очерком* и *киноочерком.* Я как киносценарист уже сейчас, предварительно беседуя с героями будущего фильма, должен определять, к чему мой герой распложен, как он реагирует на те или иные вопросы. Ведь сейчас разговор идёт один на один, а потом будет целая съёмочная группа, аппаратура, большой свет, множество раздражителей… Всё это тоже надо учитывать – и всегда! К тому же не со спортсменом или артистом у нас беседа, а с человеком, у которого буквально *культ тишины, сосредоточенности, самоуглубления.*

Что меня больше всего поразило, так это реплика Шарапова в связи с его кратким рассказом о буддийском искусстве. Подчеркнув, что буддизм приобщал людей к красоте, он в то же время красоту этого искусства не абсолютизировал, сказав как бы вскользь, но твёрдо и решительно:

– Что же касается восприятия этой красоты, то оно может быть различным. Дело вкуса.

Хочу отметить и то, что Шарапов вообще не навязывал мне абсолютность догм буддизма, он лишь знакомил меня с некоторыми из них, представлял их. Вообще я не почувствовал в нём какого-то небожителя, отрешённого от сует земных человека. Он, как-то очень

тепло и участливо улыбнувшись мне, стал говорить о природе Бурятии, о том, что самое красивое время, когда цветёт нежно-лиловыми цветами багульник, когда пахнут травы – лишь бы не засуха! На его рабочем столе я успел заметить по внешнему виду и характеру издания светские книги и журналы, на крае стола лежал сложенный вчетверо свежий номер газеты «Известия».

Не знаю, как там живёт в тибетском граде Ахасе во дворце *Потала далай-лама*, что переводится как *лама-океан, великий как океан*. Для меня это очень далёкая сказка. А то, что я видел и слышал в Иволге, – реальность, хотя и необычная почти во всём.

Я видал фотографии дворца Потала. Это действительно завораживающее своей сказочностью зрелище: горные террасы, подобные водяным каскадам, неимоверной высоты стены, уходящие в небеса… Всего этого в Иволге нет и в помине. Да и название у него самое простое, птичье. К сожалению, происхождение этого названия мне уточнить не удалось. Оно тоже осталось для меня маленькой тайной.

Конечно, мне очень хотелось расспросить Шарапова о его биографии, о том, как он взошёл на свой высший пост. Но опять же, был слишком велик риск нарушить уже складывающиеся у нас взаимоотношения.

Вдруг меня Шарапов сам спрашивает:

– Судя по Вашему возрасту, Вы воевали в годы Великой Отечественной войны? На каком фронте, если не секрет и в качестве кого?

– На Ленинградском, а потом – на Первом Белорусском, в Берлине войну и закончил. А был я военным журналистом в газетах дивизионной, армейской, фронтовой. В Ленинграде был откомандирован для работы над хроникальными выпусками и документальными фильмами об обороне города…

Хотел рассказать о том, как в блокадную пору встречался с митрополитом Алексием, но раздумал: дипломатия прежде всего.

Выслушал меня Шарапов с большим интересом и вниманием, как-то широко, по-военному плечи расправил и говорит:

– А я начинал интендантом второго ранга… – но тут его прервал стремительно, почти бесшумно вошедший секретарь. Шарапов встал, извинился, и сказал, что меня ждут в столовой, а ему надо отлучиться, но он скоро придёт, и мы продолжим беседу.

Говорил Шарапов по-русски чисто, довольно легко, хотя его язык мне казался немного книжным и чуть суховатым. Было ему тогда уже далеко за семьдесят. Внешне держался бодро, просто и деловито. Казалось, он не ощущал тяжести лет и высоты своего положения. Меня очень тронуло, что он тоже фронтовик. Интендант второго ранга – вовсе не обязательно интендант. Было такое звание в самом начале войны у культработников, у журналистов, а вскоре его отменили, и они получали обычные офицерские звания. Интересно, какая была у Шарапова военно-учётная специальность?..

Продолжить разговор? Если он посчитает нужным продолжить свой рассказ о военном пути, он сам это сделает. Может быть, то, что он уже мне сказал, это *предел информации*? Во всяком случае чувствовалось, что своим армейским прошлым он гордится, вспоминает его с радостью. Вообще, я хочу сказать, Шарапов на меня не произвёл впечатления отшельника, монаха. Если бы ни его уникальный пост, редкостный род занятий и экзотичность окружения, то я бы легко мог его себе представить, скажем, в Улан-Удэ среди учёных-гуманитариев или в роли директора краеведческого музея, или директора крупной библиотеки. Но вот гуманитарный склад ума, гуманитарный характер, которые так любезны моему писательскому сердцу, ему были свойственны.

… Пока я осматривал столовую, Шарапов вернулся, быстрой походкой прошёл к столу, пригласил меня сесть вместе с ним. Служитель тотчас же подал чай, подогретый на керосинке, молоко, печенье. Никакой застольной молитвы Шарапов не сотворил. Принялся за еду

и питьё с удовольствием как здоровый и хорошо только что поработавший человек. Правда, чувствовалось, что он немного поторапливается. Эта торопливость невольно передалась и мне.

В ходе нашей короткой застольной беседы Шарапов заверил меня, что постарается сделать всё, чтобы сперва мне как сценаристу, а затем всей съёмочной группе работалось хорошо, удобно, чтобы ей оказывалась всемерная помощь. Обсудили мы и вопросы чисто бытовые – где и как будет размещена в будущем киногруппа: ведь каждый день с аппаратурой ездить по 40 километров да ещё по жаре будет утомительно. Разумеется, в мои обязанности все эти бытовые и чисто организаторские вопросы *не входили*, но я как преимущественно сценарист документального и научно-популярного кино не считал для себя вправе полностью устраняться от них. *Сценарист как дозорный – он идёт впереди и должен всё разузнать, по возможности предусмотреть.* В кино нет мелочей!

И вот наконец он посоветовал мне вернуться в Улан-Удэ засветло и даже сказал, когда в город пойдёт автобус. Тут я понял, что ночевать в дацане мне не придётся, хотя очень хотелось вжиться в роль паломника, послушать ночную тишину, ночные звуки дацана, ночной скрип молитвенного колеса *«хурдэ»,* внешне похожего на лотерейный стеклянный барабан. Стоят эти огромные *«хурдэ»* за оградой дацана и похожи они на волшебные колёса.

Мне показалось, что что-то меня дополнительно хотел спросить и Шарапов, но не спросил. Вероятно, о фильме, о том, каким он будет, о сроках, о дальнейшей работе. Я бы при всём желании не смог бы удовлетворить его справедливый интерес: фильм заказной, согласований будет множество. Пока буду писать первый сценарный вариант.

На прощание мы пожелали друг другу долголетия. Бандидо-хамба-лама нашёл для своего пожелания образное, конкретное выражение. Он дал по-бурятски своему помощнику, который оказался хранителем ценностей, секретарём духовного совета, какое-то указание. Вскоре секретарь принёс на вытянутых руках, покрытых светло-голубым шарфом – *«хадаком»* бронзовое изображение *Аюши – символа долголетия*!

Древний скульптор, как мне потом в Москве, объяснили, – индийский, пытался в своей работе претворить идею бессмертия. Сколько веков человечество одержимо этой идеей! Не в отрешённости, не в пассивности и созерцательности оно, не в ожидании перерождений на буддийский манер, а в интенсивности познания, в стремлении видеть и слышать жизнь, учиться делать её прекрасней и совершеннее.

Да, подарок достойный и пожелание радушное и искреннее. Я на прощание обещаю Шарапову написать обо всём, что увидел, что узнал и, пользуясь его словами, сообщить миру *правдивую весть.* Он кланяется мне в ответ, улыбается и благодарит, что я взялся за этот труд и отношусь к нему серьёзно и вдохновенно. А как же ещё иначе можно относиться к творчеству, главному делу твоей жизни!

Я взял своего, домашнего теперь божка Аюшу, положил в карман и отправился вместе с настоятелем дацана *«шеретуем»* осматривать сокровища храма «Тысячи будд». Храм этот круглый деревянный. На стеллажах стоят сотни скульптур, но такой, как моя, я больше не встретил. Возможно, что символ долголетия, как и сама долгая жизнь, не так уж часто встречаются…

Я сейчас пишу эти строки спустя почти двадцать лет. Еши Доржи Шарапова уже нет среди живых, но у меня в ушах стоят слова молитвы – напутствия, которую он прочитал мне на прощание. А секретарь тихо, не мешая нам обоим, переводил бурятские слова на русские. В этом тексте не было ничего мистического, ничего божественного. Просто прозвучали добрые слова в адрес неугомонного бродяги очеркиста:

– Пусть над твоей головой вечно сияет золотое солнце. Пусть отступят от тебя невзгоды. Пусть исчезнут болезни. Пусть под твоими ногами стелется серебряная дорожка…

В финале напутствия мне пожелали возвратиться сюда на колеснице почему-то с *«жемчужными вожжами»*. Вот какое у меня вышло расставание…

До автобуса оставалось ещё часа два, и я побродил по монастырю. У каждого из двадцати монахов был свой отдельный дощатый домик весёлой окраски. Двадцать первый домик принадлежит самому бандидо-хамба-ламе. Половину своего, так сказать, рабочего времени монахи проводят за чтением и размышлениями в уединённости, а другая половина отдана совершению треб в закреплённых за каждым улусом. Условно говоря, можно назвать их *приходами.* Там они благословляют новорождённых, молятся у постели больного, напутствуют в потусторонний мир умирающих.

Молодёжи среди монахов я не встретил. Всем, кого я видел, было далеко за пятьдесят… За свои труды монахи получают вознаграждение, которое строго по описи сдают в дацан. Всё построено на полном доверии. Это могут быть деньги, предметы культа, украшения, платят порою и натурой, и тогда монах пригоняет к дацану дарованных овец.

В Улан-Удэ учёные-буддологи подтвердили мне, что у современных монахов на сей счёт существует особая щепетильность – не в пример их предшественникам, описанным в исторических трудах и художественных произведениях.

Анализируя причину такого явления, мне говорили о том, что монахов осталось мало, *все они на виду*, в монахах теперь остаются только очень стойкие, убеждённые в своём назначении люди. Любителей лёгкой жизни и большой наживы образ жизни и материальное положение монаха не привлекает.

И снова я вместе с буддологом Дандароном перебираю страницы «*Сундуя*», одного из трёх уцелевших на свете экземпляров сборников проповедей самого Будды, изложенных чуть ли не на современном ему языке. Невероятно-длинные строки в этой книге. Вот Дандарон оборачивается ко мне, отрываясь от огромной, похожей на тяжёлый лист фанеры, страницы, и предлагает записать перевод следующего изречения: *«Есть страдания. Есть причины страданий. Есть способы познания этих причин и есть путь к их устранению».* Какой же? Ожидание бесчисленных перерождений? Ялично в них не верю. Жизнь одна. И смерть одна. И бессмертие одно, если ты его заслужил, – твоё, собственное и ничьё иное. Вот они на полках книгохранилища – 75 тысяч подобных книг и около 6 тысяч манускриптов. Вот они – Ганджур и Данджур многотомные, многослойные, в которых заклинания чередуются с научными текстами, литературные произведения с нравственными предписаниями, молитвы с запретами и поучениями.

Обо всём этом я в коротком фильме рассказать не успею. В нём на первый план выйдут вопросы общественные, организационные, пропагандистские. Я примусь за эту работу, но её забракуют – заказчики не найдут общий язык с кинематографистами, сценарист опять, как чаще всего бывает в таких случаях, станет между молотом и наковальней, лично мне предъявят претензии в том, что: сценарий *слишком открыто атеистичен*, в том, что сценарий *недостаточно атеистичен*, в том, что *слишком подробно* показаны рядовые буддисты, что *слишком мало* показаны рядовые буддисты, в том, что я *не использовал все возможности зрелищности* будущего фильма, что я *злоупотребил зрелищностью*, в том, что я *слишком много дал места и времени на экране Шарапову*, что *я мало дал места и времени Шарапову*… И т. п., и т. д.

Надо быть очень весёлым и находчивым, чтобы остаться весёлым и находчивым после таких «отзывов» и «советов», чтобы подобно одному начинающему киносценаристу после обсуждения первого варианта сценария не загреметь в больницу. Но я к таким делам в кино привычный – с начала 20-х годов в кинокотле варюсь, ещё с той поры, когда ВГИК институтом не был, а лишь техникумом – уже тогда кинодраматургией в его стенах занимался. Так что отнёсся я к этим событиям философски. И – немного экономически, потому что всё-та-

ки кроме командировочных и суточных (мы их тогда *«шуточными»* звали) кое-какую сумму всё же получил, чтобы нервные клетки восстановились.

Своей киностудии у меня нет, перебросить заявку на другую студию не удалось. Так что остались у меня богатый фактический материал, ярчайшие незабываемые бурятские впечатления и вот этот очерк, который я наконец-то взялся завершить спустя почти двадцать лет. А это даже хорошо, что столько времени прошло: Река Времён смывает лишнее, вымывает из литературных произведений пустую породу, остаётся, как любил говорить Александр Довженко, *«чистое золото правды».*

Все эти годы я не забывал ни Шарапова, ни своих собратьев – бурятских драматургов, ни тех замечательных людей, с которыми встретился. Когда выступал перед читателями с рассказами о творческом пути в литературе, театре и кино, об этом несостоявшемся фильме вспоминал, не раз думал о том, во что в конце концов выльется этот материал. А потом, когда стал работать над очерковой книгой *«Памятные встречи»,* понял – это и есть глава-очерк в моей будущей книге. Написал приятелям в *Улан-Удэ,* от них узнал, что Еши Доржи Шарапова уже нет в живых, вспомнил его приветливость, участие, его поэтичное пожелание и подумал о том, что есть всё-таки *перерождение человека в человека,* но не такое, как трактуют буддисты, а самое что ни на есть земное, исполненное высочайшего смысла: разве я, драматург, создавая своих героев, людей разных народов, профессий, эпох, не перерождаюсь в них, разве не перерождается в своих учеников учитель, в своих спасённых им пациентов врач, в участников исторического процесса историк, в своих зрителей и слушателей артист и музыкант, художник и скульптор, разве режиссёр не умирает в актёре, как говорил Станиславский, разве полководец не перевоплощается в тех, кто под его началом осуществляет победу в сражении, разве родители не перевоплощаются в детей своих и внуков и дальше, дальше, дальше?.. И так без конца!..

Мне 78 лет. Я ровесник XX века. Живой его календарь. Моя судьба – составная часть его летописи. В моём казацком запорожском роду все были долгожителями, да и профессия моя для свершения планов требует долголетия. Хочется, конечно, встретить XXI век, вступить в новое столетие, переступить неведомую черту, но что-то выполнение этого заветного желания в последнее время мне не верится – слишком велик был груз пережитого. Три войны, одна ленинградская блокада!.. Дальше уже можно не продолжать. Конечно, они закалили. Но мои герои и друзья металлурги, о которых я писал как кинодраматург – Иван Кайола и отец с сыном Коробовы, всегда подчёркивали, что *сталь нельзя перекаливать.* Мне кажется, что время моё поколение перекалило, хотя мы и были счастливы в своей судьбе, в своих исканиях, в своей борьбе.

Я пишу эти строки, а у меня на столике стоит Аюша, подарок Шарапова. Рядом на стене висит удачная репродукция мадонны Леонардо да Винчи, портреты дорогих мне людей. Мои друзья и ученики, захаживающие ко мне в гости, в шутку спрашивают, каким же богам я молюсь? Можно отвечать часами, можно отшутиться, а я отвечаю так: *мой бог – красота в людях и красота, увиденная людьми.*

… По весеннему светло-голубому небу реактивный самолёт проложил белопенный чарующий свет, и я вновь услышал из глубин памяти пожелание Шарапова, чтобы я вернулся в Бурятию на колеснице с *«жемчужными вожжами».* Вот они, жемчужные вожжи, которые оставляет на небосклоне после себя реактивный самолёт! Пройдёт немного времени, и этот след истает, сольётся с небесной голубизной. *Не так ли и жизнь наша на небосклоне земного бытия?…* Нет, не так, потому что *мы способны к перерождению в других людей и в их добрые дела.*

Так хочется вновь побывать в Бурятии, вернуться в этот дивный край на колеснице, именуемой «ТУ-154», когда там вновь расцветёт неоглядным ковром нежно-лиловый багульник, такой же нежный, как весеннее небо в это утро…

1958–1978
Москва – Улан-Удэ – Иволга – Москва

Н.А. Сотников. «В историческом фильме нет мелочей!». Беседа Н. А. Сотникова с творческими сотрудниками киностудии «Ленфильм» о сценарии фильма «Певец из Лилля.» (Стенографические записи)

Оглавление

Несколько вводных слов
Парижская Коммуна, её герои и певцы
Имя им всем – шансонье
Пьер Дегейтер – каким же он был?
Каким был город Лилль в конце столетья?
Рождение «Интернационала»

Несколько вводных слов

Для наших бесед[37] я намечаю *пять вопросов*, которые могут дать хотя бы минимум представлений, необходимых для фильма. Это, во-первых, Парижская Коммуна. Во-вторых, Эжен Потье, его жизнь, облик, творчество. В-третьих, атмосфера, в которой происходят события, в том числе – и бытовая, со многими обязательными подробностями, которыми, впрочем, наш фильм перегружать не надо. И всё равно *в историческом фильме нет мелочей* \ В фильме на современную тему, если действие происходит в нашей стране, и так многое ясно, узнаваемо, пожалуй, за исключением каких-то профессиональных тонкостей, но их, как правило, в обычном фильме бывает крайне мало. В-четвертых, творчество рабочих-шансонье. И, наконец, ремесло, профессия, национальные и семейные традиции. В жизни Пьера Дегейтера ремесло и творчество были слиты воедино.

Мне посчастливилось познакомиться с Пьером Дегейтером в Москве 1 мая 1928 года. Приехал Дегейтер в СССР по приглашению МОПРа (*Международного общества помощи революционерам).* Жил Дегейтер в предместье Парижа – Сен-Дени, жил более чем скромно, одолеваемый тяготами и болезнями. Сотрудники МОПРа не только приветили больного старика, но и помогли ему немного поправить здоровье, а самое главное – выиграть судебный процесс, который тянулся почти 22 года по поводу авторства музыки «Интернационала». В СССР Дегейтеру было предложено остаться жить в Доме ветеранов революции вместе с Густавом Инаром, Гё, Пьером Фуркадом и другими ветеранами. Дегейтер сердечно поблагодарил за заботу, но жить в СССР не остался. Прожил в нашей стране он примерно *полгода.*

Итак, всё началось с репортёрской заметки – сперва о приезде, а затем – о встречах с московскими пролетариями. Старик произвёл на меня неизгладимое впечатление – до сих пор вижу его изрытое петельками морщин лицо, сухие голубоватые глаза, вьющиеся по ветру длинные седые волосы. Особенно мне запомнились его руки – он постоянно жестикулировал, но движения его рук походили на движения рук дирижёра.

Вскоре я обратился во французскую секцию Коминтерна к Андре Марти[38]. Получил от него очень обстоятельный ответ, в котором он приветствовал мой замысел поведать о судьбе автора музыки «Интернационала» и мои письма отправлены им в Париж в редакцию газеты в «Юманите» и в Лилль в редакцию местной коммунистической газеты с просьбой сообщить мне фактический материал.

Из редакций очень любезно откликнулись, и вскоре ко мне стали поступать конверты с газетами, с копиями писем, выписками из дневников…

А всё, повторяю, началось с репортерской заметки. Вот первый текст:

«В Москву прибывает Пьер Дегейтер – автор всемирно известного гимна – “Интернационал”. Пьер Дегейтер – французский рабочий, мебельщик из города Лилля. Ему в настоящее время свыше 80 лет. Мечтой Пьера Дегейтера в последние годы было посетить СССР, где написанная им музыка стала государственным гимном. Пьер Дегейтер будет помещён в Доме ветеранов революции, где уже живут французские коммунары Инар и Гё».

Вторая заметка была обстоятельнее:

«Вчера в Москву прибыл автор революционного гимна “Интернационал – старый французский рабочий Пьер Дегейтер. На вокзале он был встречен председателем Всесоюзного общества по культурным связям с заграницей, представителями Московского город-

[37] Участниками бесед были преимущественно члены съёмочной группы, но вскоре беседы стали посещать и другие, свободные в данное время от работы ленфильмовцы: столь велик был интерес к лектору и его темам.

[38] Подробнее об Андре Марти см. далее.

ского совета профессиональных союзов и старыми французскими коммунарами Фуркадом и Инаром».

Пьера Дегейтера приветствовали как автора гимна, под звуки которого русские рабочие шли в Октябре 1917 года на штурм капитала.

«– Я очень тронут тем исключительно тёплым приёмом, – сказал нам Дегейтер, – который был оказан мне, являющемуся всего лишь вашим единомышленником в борьбе за лучшую жизнь. Я счастлив, сознавая, что нахожусь в стране великой революции, в стране, победившей феодализм и рабство и сделавшей рабочих хозяевами своей судьбы. Россия, бывшая всего десять лет тому назад синонимом рабства, превратилась в страну, на которую обращены взоры трудящихся всего мира. Я счастлив, что вашим гимном, гимном революционной России, является "Интернационал, пение которого вызывает "гусиную кожу", повергает в смятение и ужас у тех, кто строит своё благополучие из эксплуатации рабочих!»

Когда к Пьеру Дегейтеру обращались русские товарищи, приятная улыбка неизменно показывалась у него на устах. Она не была простым знаком обычной французской любезности и вежливости. Его очень трогало внимание, порою настолько, что на его глазах показывались слёзы, лицо оживлялось, голос креп.

Старик охотно рассказывал о своих молодых годах, а однажды он поведал нам полную страсти и гнева историю возникновения гимна. Он говорил о том, что эта песня рождалась в пылу и крови классовых битв. Он вспоминал завет Эжена Потье – вооружать песней революцию и песней помогать Коммуне, ибо *«песня – это крылатая мысль».* (Позже я узнал, что это цитата из Виктора Гюго.)

Москва оказала Пьеру Дегейтеру горячий приём. Он присутствовал на VI Конгрессе Коминтерна, на массовых демонстрациях московского пролетариата. Эти события очень взволновали его. Все участники конгресса встретили появление Дегейтера за столом президиума продолжительной и бурной овацией, затем все встали со своих мест и запели «Интернационал». Гимн звучал тогда на 58 языках, в том числе на немецком, итальянском, польском, французском, английском, голландском, китайском, японском, финском и других.

Старик был в те дни, как он сам потом признавался, на вершине счастья:

– Я стоял на высочайшей трибуне славы – у мавзолея великого Ленина. Я слышал небывалый хор: Красная площадь пела мою песню, сложенную в годы бесправия и угнетения. Скажите, мог ли мечтать о такой славе, о таком признании хоть один певец в мире! Я один удостоился такой высочайшей чести. Я, бедный столяр, уличный певец, продавец газет в последние годы…

А между тем программа пребывания Дегейтера в СССР продолжалась. Он побывал в ряде рабочих клубов, принимали его у себя представители музыкальной общественности. Рассказы Дегейтера о себе становились всё проще, откровеннее и всё глубже по содержанию. Во время одной из таких встреч он рассказал о своей беде:

«Ещё недавно>, когда меня пригласили в Советский Союз, газеты "социалистов шумели: "Кого они приглашают? Ведь настоящий автор музыки "Интернационала' не Пьер Дегейтер, а его брат – Адольф… "Но теперь-то все знают, что это ложь, и памятник с золотой нотной линейкой на могиле Адольфа в Лилле давно уже снесен по приговору кассационного суда. Адольф был лишь пешкой в руках ловких политических игроков – Гекьера и Делори, которые хотели завладеть нашей песней в своих чёрных интересах».*

Парижская коммуна, её герои и певцы

Теперь несколько слов о Коммуне. Ключом к её истории могут быть слова Эжена Потье: *«Несчастная Коммуна! Мы никогда не узнаем, сколько негодяев трудилось над твоей гибелью!»* Кто он? Ученик красильщика, республиканский настроенный рабочий, ненавидящий империю. Его избирают в синдикат (профсоюз) разрисовщиков тканей в качестве уполномоченного профсоюза. Это – 60-е годы минувшего века. Перед нами проходит биография рабочего, агитатора и пропагандиста, руководителя касс взаимопомощи, общества сопротивления, организатора рабочей кооперации и секции I Интернационала. Он чудом спасся от расправы солдат генерала Галифэ, эмигрировал сперва в Англию, где встречался с Карлом Марксом, затем в США, где работал в социалистической рабочей партии. *После 80 года – убеждённый марксист.*

Важно подчеркнуть, что сборник «Революционные песни» Потье посвятил не только оставшимся в живых борцам Коммуны, но и Лафаргу, которому его песни и стихи казались *«художественными документами партийной политики».*

Из чего складывался он как поэт? Из идей Бланки, Фурье, Прудона. Он преклонялся перед Бабефом, был учеником фаланстьерской школы[39], ненавидел Наполеона, присутствовал при разрушении Вандомской колонны. Войну он ненавидит. И вместе с тем этот человек становится горячим сторонником гражданской войны.

Сам Потье был скромного мнения о своих поэтических способностях и мечтал: *«Ах, если б я был Беранже!»*

Для нас очень важно провести мысль о последовательности: *Беранже – Потье – Дегейтер.* Песни Потье национально-французские, социалистические по духу, международные по значению и восприятию.

Потье был не только лиричен и публицистичен. Он был ярким сатириком. Недаром Рошфор назвал его *«Ювеналом предместий».* А бывший коммунар Жюль Валес в своей газете «Крик народа» писал:

«Это старый товарищ по великим дням, изгнанный поэт. Это был настоящий поэт, немного неотёсанный. По какой горячий темперамент! Какое мрачное воображение!.. Какая глубина и горечь ощущений! Это был коммунист и один из наиболее непримиримых. Он был искренен и родился поэтом. У него есть несколько песен-шедевров. Он чаще бывал выразительнее, чем старый бродяга Беранже».

Сам Потье, как мы знаем, очень любил Беранже, особенно его стихотворение «Фея рифм».

Долог был его путь в революцию и в поэзию. Сын рабочего-упаковщика, он родился в октября 1816 года. С 13 лет, сколачивая ящики, он помогает отцу, а в свободное время увлекается разрисовкой тканей. Его родители по взглядам – бонапартисты-католики. От их идейного влияния он освобождается в 1830 году, когда выступает со своей первой песней «Да здравствует свобода!» В февральские дни 1848 года он был уже на парижских баррикадах. Синдикат рисовальщиков тканей, в который избрали Потье, организовался в 1870 году, почти накануне Коммуны. Путь борьбы привёл Потье во французскую секцию международного товарищества рабочих, то есть первого, марксова, Интернационала.

---

[39] Прокомментировать все названные здесь и далее имена и реалии из истории Франции не представляется возможным. Желающие могут обратиться к специальным научным трудам. Прошу учесть также, что общекультурный уровень работников художественных учреждений довоенного Ленинграда, в том числе и рядовых, был весьма высок, что отмечают и историки, и авторы мемуаров. Например, как вспоминал Н.А. Сотников, среди корректоров издательств «Прибой» и «Пролетарий» почти все женщины были выпускницами классических гимназий.

Знаменитый французский публицист Шамфор говорил, очевидно, о песнях, распевавшихся на баррикадах 1830 и 1848 годов: *«Абсолютная монархия была свергнута песней».* Вот какое громадное значение придавалось песням рабочих-шансонье!

В 1870 году Потье вошёл в Коммуну. Он участвовал в разработке декрета о квартирной плате – одного из первых декретов Коммуны, предложил проект знаменитого доклада о ломбардах, о закрытии публичных домов. Он работал в художественной комиссии Коммуны вместе с Курбэ. После разгрома Коммуны в 1871 году написал «Интернационал». Писал и видел перед собой баррикады Коммуны, коммунаров. Как же они выглядели, во что были одеты? Рабочая блуза, солдатское кепи и гвардейские шаровары с лампасами, короткие, застёгнутые на пуговицы гетры. На груди широкий красный бант.

Полиция знала о Потье, всю *кровавую неделю* разыскивала его. Они, полицейские, его ненавидели и как поэта, и как певца, и как деятеля Коммуны.

Прославленные шансонье Густав Надо и Пьер Дюпон однажды услышали выступление Потье с эстрады кабачка «Пропаганда песен», и тогда Дюпон сказал: «Он *переживёт нас обоих».*

Первый сборник стихов Потье назывался «Кто сошёл сума». На протяжении сборника ответ дается такой – мир сошёл с ума. Сборник «Революционные песни» Потье был издан на средства участников Парижской Коммуны в Лондоне.

А несколько ранее Потье стал победителем на конкурсе песен, организованном республиканским клубом шансонье «Лига песен».

Умер Потье 7 ноября 1887 года. Над могилой произнесли речь Луиза Мишель[40], Вальми, Милон. За гробом шли оставшиеся в живых коммунары, десятки тысяч рабочих. На процессию напала полиция, началась борьба за красное знамя. Примерно также хоронили Бланки и Валеса.

Память о Потье старались стереть. Ни словарь Ларусс, ни Большая энциклопедия, ни антологии стихов не называли его имени, имени крупнейшего поэта Франции.

Итак, *две книги*, но есть и ещё одна – вышла она в 1884 году в издании «Рабочей партии» под названием *«Социально-экономические сонеты».* Это то самое издательство, которое издавало французский перевод трудов Карла Маркса, постановления Интернационала и рабочих конгрессов.

Теперь непосредственно об «Интернационале». В нём декларированы идеи, осуществлявшиеся Коммуной. На её баррикадах и на руководящих постах встречались иностранцы: поляк Домбровский, венгр Френкель, русские Сажин и Дмитриева[41].

Хочу подчеркнуть – в «Интернационале» впервые появляется понятие *«партия труда».* Первое же издание текста вызвало судебное преследование – *за пятую строфу*, содержащую призыв к гражданской войне.

В середине 90-х годов «Интернационал» становится популярным среди групп Жюля Гэда: в 1899 году на Объединенном конгрессе социалистических организаций в Париже «Интернационал» впервые прозвучал как гимн всего социалистического движения.

«Интернационал» зарождает веру в бессмертие Коммуны, в реванш. Текст и является призывом к реваншу. Потье утверждает, что Коммуна, залитая кровью, – это не похороны, а роды.

И человечества ответ суровый,

---

[40] Луиза Мишель (1830–1905) – публицист, прозаик, драматург, участвовала в барикадных боях Парижской Коммуны, была в наказание сослана в Новую Каледонию (владение Франции в юго-западной части Тихого океана). Осталась верна идеалам коммунаров до конца жизни. Приветствовала русскую революцию 1905 года. Сочинения Луизы Мишель публиковались в СССР в 20-е годы.

[41] И тем не менее преувеличивать иностранное присутствие не следует. Коммуна была чисто французским явлением.

ответ, который выстрадан и сжат:
зачатый мною мир родится новый,
не похороны – роды предстоят.

А вот перевод «Интернационала», сделанный Гатовым:

Мы в бою небывалом.
Наш решительный бой.
Интернационалом
ты станешь, род людской.

Вставай, гонимый, заклеймённый,
вставай, голодный люд земли.
Наш разум – кратер раскалённый
и цели точные вдали…

Этот перевод мне не нравится. По подстрочнику, очень точному почти дословному я сделал свой вариант перевода[42].

В «Интернационале» угадывается клятва верности великому делу которому посвятили свою жизнь Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Великим гневом к врагу пропитана каждая строчка произведения человека, который был приговорен к расстрелу за участие в Коммуне. Это произведение проникнуто духом непримиримой классовой ненависти.

Я забыл упомянуть, что в течение *семи лет в эмиграции* Потье был *секретарем американской рабочей партии.* В 1884 году во Франции была объявлена амнистия коммунарам, и Потье смог вернуться на родину. Он вёл революционную работу, писал песни, сонеты и свои сатиры. Он *перестал быть изгнанником, а его песни были с Францией навсегда.*

[42] *Новый перевод полностью публикуется* ниже.

Имя им всем – шансонье

Имя Пьера Дегейтера навсегда связано с именем Эжена Потье. Они оба были рабочими. Есть что-то волнующее в общности их судеб. *Враги мстили и продолжат им мстить забвением.* А песня звучит дольше и запоминается лучше, чем стихотворение, не окрылённое музыкой.

Теперь самое время сказать о французской песне и о её творцах – *шансонье.*

Прежде всего надо сказать о необычайной политической действенности и остроте песенных куплетов шансонье. Кто такой обычно шансонье?

Это автор и исполнитель. Им мог быть рабочий, солдат, ремесленник. ШАНСОН – песня, ШАНСОНЬЕ – певец.

Дачная импровизация песни, бывает, подхватывается слушателями, и они её выносят с песенного вечера на улицу. Она переходит в цеха, в быт, становится спутницей митингов, демонстраций.

Знаменитый шансонье Луи Фесто говорил о шансонье:

«Шансонье – это эхо народа, адвокат народа. Он смеётся, радуясь вместе с ним. Скорбит вместе с ним, когда приходит беда, и угрожает, выражая его гнев».

Ещё одна формула песни шансонье:

«Революционная песня является художественным отображением революционных настроений самых широких масс трудящихся».

Именно Франция явилась родиной таких феноменов песенного творчества, как *«Марсельеза», «Карманьола»* и *«Интернационал».* Это песни, созданные, выношенные и исполненные на улице.

В интересующую нас эпоху в Париже насчитывалось около 200 шансонье-профессионалов. Когда зажигались газовые фонари, они бродили из кафе в кафе и речетативом исполняли (зачастую без музыкального сопровождения) свои бытовые и политические злободневные куплеты.

Среди них на первом месте *crown Пьер-Жан Беранже* – родоначальник жанра куплетной поэзии. Это ощущается в таких его произведениях как «Жак», «Фея рифм», «Поэтреволюции».

Затем – прославленный шансонье *Пьер Дюпон,* создатель «Песни рабочих».

Дальше – *Луи Фесто,* автор песенного манифеста «Народные шансонье».

Назову ещё народного рабочего певца *Эжезипа Моро.*

Следующий в этом ряду – *Эжен Потье.*

Далее – *Жюль Жуй,* автор песен о различных профессиях – у него есть «Песня землекопа», «Песня шахтёра»…

Затем – знаменитый *Гастон Монтегюс,* прославившийся своей песней «Слава 17-у полку!»[43]

В этом ряду стоят *Алексис Буавье,* автор песни «Чернь», *Жан-Батист Клеман,* автор знаменитой песни «Кровавая неделя», *Оливье Суэтр,* написавший «Песню солдата-социалиста».

Хотелось бы заострить ваше внимание вот на каком моменте. В 80-е-90-е годы у пролетариата не было газет, журналов и других средств распространения идей. И *вот эти средства заменяла собою песня!* Сборник шансон и маленькие жёлтые листочки, на которых

[43] Название этой песни варьируется, но суть всегда одна – восхищение подвигом солдат, которые единодушно перешли на сторону народа.

печатались ноты и слова песен, тоже были своеобразными распространителями песенного творчества.

Мне бы хотелось как сценаристу использовать одну из шансон в сцене на баррикадах. По словам Оливье Суэтра, *«песня является сотрудницей смуты, смелым и желчным критиком. Она несёт в себе сарказм. В ней звучат смертельная ненависть, насмешливость. Песня атакует бога, религию, законы. Она словно отгравировывается в памяти рабочего, легко вспоминается ему. Она электризует умы, она способна потрясать сердца. Песня в состоянии снабдить лозунгами мятежи и восстания. Она не имеет преград и, как крылатая мысль, проникает в города и деревни. Песня может заразить даже сам воздух, которым мы дышим. Роль поэтов улицы – потрясать умы и основы правящих классов».*

Вот как говорил Жан-Батист Клеман о рабочих-поэтах:

«Поэт не должен парить в облаках. Он не будет блуждать по лабиринту воображаемого мира. Он должен воспеть полную движения жизнь заводов, инструментов и машин при том условии, что последние будут служить благополучию всех, а не только единицам. Они воспоют пар и электричество, все великие научные открытия и великие социальные истины, которые должны привести человечество к новому этапу совершенства.

Им, поэтам, более легко найти точные, волнующие слова, чтобы стать вдохновителями больших и великодушных идей, которые сближают людей и заставляют их любить жизнь».

Социалистическая мысль, столь бурная в XIX веке, находила среди поэтов улицы своих верных пропагандистов, последователей. Такую песню *отличали злободневность и огромная сила предвидения.* Редкое сочетание в искусстве! Оно в полной мере проявилось в «Интернационале». Поэты баррикад всегда воспевали будущее. Они были борцами за тот конкретный идеал жизни, который в результате вековой борьбы и побед пролетариата должен быть осуществлён.

Поэты баррикад были среди людей разных профессий.

Мы знаем, например, *шансонье ткача Мегю,* который пел так:

Я в конуре без огня,
и дюжиной мыши и крысы
приходят проведать меня.
Я днём работаю, как ткач,
а ночью рифма так легка!

А вот *поэт-каменщик Понси,* которому Жорж Занд советовала оставаться *«в литературе с известкой в руках».* Она, очевидно, предполагала, что рабочий поэт, уйдя в профессиональную литературу, потеряет связь с массами.

Поэзия революционного социализма достигла наивысшего подъёма в творчестве Эжена Потье.

Предвижу вопрос: «А как обстояло дело с песенным творчеством *в других странах Европы*? Может быть, рабочая песенная поэзия – явление *сугубо французское*?» Нет, некоторые аналогии провести можно – были свои рабочие поэты в Англии среди чартистов, среди членов «Союза коммунистов» в Германии, но французская почва оказалась более благодатной. Эта тема очень интересная и невероятно сложная! Она далеко выходит за рамки нашего разговора. Скажу лишь о судьбе Беранже. В начале жизни он прислуживал в трактире. Потом был учеником у ювелира. Став литератор ом-профессионалом, он, тем не менее (вопреки предсказаниям Жорж Занд), остался с народом. Его ведущая тема – это борьба мелкой буржуазии против аристократии и клерикалов, против монархии Бурбонов. Когда свергли монархию, он успокоился. Свой долг он считал выполненным и ушёл от дальнейшей политиче-

ской борьбы. Но его художественная программа продолжалась – он мечтал остаться на устах народа. Может быть, поэтому он отказался от кресла академика.

Интереснейшая личность *Эжизип Моро.* Он был учеником наборщика, голодал, ночевал на папертях церквей, на ступенях Сорбонны, подставлял свою грудь под пули на баррикадах. Есть и какая-то неясная страница в его биографии – он нарочно заболел холерой, в знак протеста. Его книга «Незабудки» получила высокую оценку поэта-коммунара *Феликса Пиа* (его книга вышла у нас в издательстве «АКАДЕМИА»). Моро – бунтарь, романтик. Он выступал против реакционного лозунга Гизо «*Обогащайтесь*!» О Моро так писал Пьер Дюпон:

Над кассой наборною стоя
и голову низко склонив,
шептал он стихи, и порою
набор был неточен и крив.

Теперь об авторе только что процитированных строк Пьере Дюпоне. Его «Песню рабочих» и «Хлеб» знали и Потье, и Дегейтер. Это были самые популярные песни, бытовавшие в рабочих массах. Их недаром называли «предвестниками Коммуны».

Дальше идёт *Луи Фесто.* В молодости он работал часовщиком. Он был певцом баррикад 1830 года. Его знаменитые песни – «Братство», «Свобода в опасности». О своей творческой работе он говорил так: *«Шансонье должен быть на всех полях битв. Он должен быть на стороне париев цивилизации, должен пригвождать к позорному столбу общественного мнения крупных мошенников, титулованных грабителей, знаменитых пиратов… Он должен быть в лёгкой, полной намеков форме касаться вопросов государственного строя, труда, образования и прочего. Он должен просвещать слушателей, забавляя их»*[44].

Таким просветителем слушателей был в большой мере *Алексис Бувье.* Его выступления всегда сопровождались огромным успехом, за ним была слава автора романсов. Среди них особой популярностью пользовались романс «Клуб негодяев» и «Смертельные поцелуи». В 1870 году накануне Коммуны он написал свою знаменитую «Чернь». А в дни Парижской Коммуны популярная актриса парижской оперы Розалии Борда исполняла эту песню в Тюльерийском дворце, завернутая в красное знамя Коммуны[45]! Пела она эту песню в королевском дворце, а весь зал подпевал ей: *«Вот – чернь! Ну что ж, и я таков!»* Бувье был мастером-бронзировщиком.

Жан-Батист Клеман, тоже ремесленник, затем журналист, автор романсов, идиллий, редактировал журнал «Кастет», боец Коммуны, член французской секции I Интернационала. Как и Потье, Клеман в изгнании писал песни, называя их «*могущественным словом пропаганды».*

Когда мы взрываем и точим
основы системы гнилой,
ответ ваш – картечью сухой,
ответ ваш – во славу рабочим.

Теперь надо сказать об *Оливье Суэтре.* Он получил премию на конкурсе «Республиканской музы» за песню «Вопрос об амнистии». Известны его песни «Возрожденная Коммуна»,

---

[44] Стоит подчеркнуть, что это – и лозунг братьев Дуровых.

[45] Здесь уместно напомнить о том, что почти через полвека знаменитая танцовщица и балетный педагог Айседора Дункан исполнит аналогичный номер: под музыку «Интернационала» она совершит танец в красном платье на фоне красных знамён.

знаменитая «Марианна», которую пели на баррикадах. Затем шла «Песня солдата-социалиста». Её хвалил Потье. Эта песня была напечатана в первом журнале французских марксистов «Социальный вопрос». Безработица, голод, самоубийство – вот *триединство бога.*

Дальше идёт *Жюль Жуй,* подлинный сын народа, сын обыкновенного мясника. Он видел изнанку родных ему рабочих кварталов Парижа. Начал писать злободневные куплены об отставке кабинета министров, о биржевых махинациях, выступал в концертных залах Монмартра в 80-е годы.

Автор и исполнитель из знаменитого кафе «Ша нуар», Жуй был демократичен и резок. Его заметил писатель Жюль Валлес, редактор газеты «Крик народа» (это был марксистский орган печати). Валлес понял существо творчества Жуй: *«Он пишет так, как говорит народ, поэтому народ его понимает».* Между прочим, эта фраза *«Писать так, как говорит народ»* напечатана на всех его нотах.

Впоследствии он стал фельетонистом пролетарского направления. Но он прежде всего были остался поэтом, обладавшим исключительным даром импровизации.

В 80-е-90-е годы начинается подъём французского рабочего движения. Растёт число синдикатов (в данном случае – профсоюзов), упрочивается положение рабочих депутатов в парламенте. В этой атмосфере бытовали песни на темы «Атаки на генерала Буланже», возглавлявшего реакцию после разгрома Коммуны. Эти куплеты подхватила улица. Они становились лозунгами дня во время избирательной компании.

Несколько слов о *Гастоне Монтегюсе.* Это псевдоним *Гастона Брунсвика.* Он был сыном сапожника. Его дед и отец – бойцы Коммуны. Очень резко выступал против военщины. Главная направленность песней антивоенная и антиклерикальная. Выражал настроение демократических масс, вскоре приобрел большую популярность на Монмартре.

Здесь мне хочется подчеркнуть, что в 1901–1902 годах в кафе «Ша нуар» или в концертном зале на Монмартре Пьер Дегейтер слушал Монтегюса – последнего из плеяды знаменитых шансонье. Вижу в фильме такую сцену: в куплетах Монтегюс осмелился затронуть офицера «великой французской армии». Реакционная публика освистала дерзкого певца, но рабочие массы его сделали своим героем.

Слава Монтегюса длилась до самой Первой мировой войны – почти 13 лет. Он приобрел огромную аудиторию. Со своими песнями он выступал на социалистических митингах. В Сен-Дени висело объявление, где было сказано: *«Этот шансонье вызывает бунты и волнения в армии».* Военнослужащим было официально *запрещено* присутствовать на его выступлениях. Рабочие до отказа заполняли парижские залы и, расходясь, напевали песни Монтегюса, направленные против генералов, фабрикантов и домовладельцев.[46]

Все названные выше поэты в какой-то степени были учениками почти забытого в наше время *Десожъе,* жившего ещё в конце XVIII века. Этот певец был знаменит своими песнями, которые исполнял *сам* в противоположность своему молодому современнику Беранже.

Бальзак высоко оценил творчество Десожье и сказал о нём так: *«Его имя означает песню».*

Меня просили процитировать несколько куплетов. Думаю, что внимания заслуживают такие из них. Вот куплет из песни *Пьера Дюпона* «Хлеб», написанной в 1870 году:

Народ не спрячешь за решетку
и не отправишь к палачу,
когда раскалывает глотку
крик естества: «Я есть хочу!»

[46] Валентин Катаев в своих парижских путевых заметках пишет о Монтегюсе как-то глухо, доверяясь собеседнику который отказался продолжать разговор. Монтегюса слушал как шансонье и беседовал с ним В. И. Ленин.

А вот ударные строки *Фесто*, так он понимал назначение песни:

Поэты улицы, облагородьте стих!
Пропойте песню королям, как равным,
скажите в ней, как тяжело бесправным.
Поэты улицы, вы здесь среди своих!

А вот что говорит *Бувье* о значении уличной песни:

Мы помним, в девяносто третьем
под «Марсельезу» деды шли,
чтоб ненавистную столетьям
снести Бастилию с земли.

Реванш – господствующая тема в творчестве многих народных певцов после поражения Коммуны.

Клеман в 1903 году пишет:

Так думайте же о реванше,
к нему готовьтесь, бедняки…

Завершает он песню восклицанием:

Когда всё кончится великой
республикою трудовой?!

Приведу строфу из «Марианны» *Суэтра*, которую распевали коммунары на баррикадах:

Кто такая Марианна?
Марианна – это, как ни странно,
Франция!
Иди же, Марианна!
Пусть будет враг разбит.
Буди (уже не рано!)
того, кто спит.

Приведу также строфу из «Карманьолы», которая интересна тем, что *автора не имеет*. Она полностью стала народной, хотя, вероятно, какие-то *начальные строки* имели своего автора-шансонье. «Карманьола», живя в народе, всегда сохраняла свой припев, но в зависимости от эпохи видоизменяла свое содержание.

Например, в 1789 году строки «Карманьолы» звучали так:

Станцуем «Карманьолу».
Да здравствует она.
Станцуем «Карманьолу».
Да здравствует война!

«Карманьола» 1889 года звучит так:

Властелином станет труд —
равенство наступит.

А вот отрывок из песенки неведомого автора, которую в нашем фильме могли бы исполнять во время своего марша по дорогам Франции Пьер и Кассоре:

В бой, вперёд, и фабрики, и доки,
в бой смелее, шахты, рудники,
все те, кого буржуи-пауки
держали в нищете жестокой!

Меня спрашивают, как проходили чаще всего выступления. Вот, например, на эстраде маленького шахтерского кабачка установлен ящик, на ящике стоит певец, аккордеонист сидит на стуле, а третий товарищ ходит по скамьям с пачкой нот и продаёт тексты и ноты куплетов, а зал бурно, очень бурно и живо реагирует на выступления шансонье. Обращаю ваше внимание на то, что *всю эту атмосферу успел застать Владимир Ильич Ленин в Париже.* Владимир Ильич слушал Монтегюса и, несомненно, живо представлял себе в эти минуты Родину, Россию, соотносил события истории российской и истории французской. Вот, скажем, песня Монтегюса «Привет, привет вам, солдаты 17-го полка!». Этот полк отказался стрелять в народ. В дни Великого Октября армия и народ сольются в единое целое. В этом была победа! Юнкера и казаки – малость на этом фоне. Эстетическое начало у Ленина неразрывно в восприятии соединялось с началом политическим.

Была дорога́ Ильичу и песня Монтегюса, высмеивающая социалистических депутатов, предававших в парламенте народную свободу.

Ленин радовался искренности и непосредственности восприятия жителями рабочих окраин, предместий Парижа. Ему нравилось растворяться в рабочей массе. Французской? Да, конечно, французской. И тут обратите внимание на два момента: во-первых, Ильич чувствовал, что он уже слился с парижской жизнью, уже начал её постигать. Во-вторых, он в такие мгновения особенно глубоко ощущал интернациональный характер марксизма, учения, которому был предан до конца. И, наконец, в-третьих (а мы уже об этом говорили несколько выше и в ином плане), он и в эти минуты не забывал о России.

Однажды Монтегю с выступал на одной из русских вечеринок в Париже и долго, до глубокой ночи беседовал с Владимиром Ильичом. Они вслух мечтали о будущей мировой революции. Сын коммунара и русский большевик были захвачены своей беседой, но каждый мечтал о такой революции по-своему.

Во время Первой мировой войны Монтегюс начал писать песни патриотические, которые потом приобрели более общеантинемецкие черты. Например, в одной такой песне он славил французского рабочего, идущего на войну за свою подругу – небесно-голубую Францию, которая остаётся ему верна[47].

[47] Антинемецкая направленность песни-протеста не может быть поставлена в вину авторам-певцам XX века, который испытал невероятный натиск со стороны Германии.

Пьер Дегейтер – каким же он был?.

Ну, а теперь по вашей просьбе я ещё раз остановлюсь на некоторых биографических вехах Пьера Дегейтера. Меня в перерывах спрашивали, каким он был в годы юности.

Родился Дегейтер в 1848 году в семье, в которой было семь детей. Из них мы (по сценарию фильма) уже знаем троих: старшего брата Эдмонда, столяра и резчика; писца Адольфа и сестру Вергинию. Адольф в лилльском муниципалитете был сперва писарем, а потом делопроизводителем и наконец – советником. Поскольку он был постоянным обитателем кабачков, то в кабачках и работал, и кормился тем, что за небольшую плату писал всякие жалобы, кляузы, умел вовремя что-то подсказать, что-то уловить, на что-то настроить… К интригам и крючкотворству способности у него бесспорно были.

Пьер начал работать в мастерской с восьми лет. Работал он по 10–12 часов и тут же засыпал под верстаком, на стружках. Надо подчеркнуть, что вся семья Дегейтеров – прадеды, деды, отец, все были потомственными столярами-резчиками, мастерами деревянной скульптуры, своего рода потомками Кола Брюньона героя Ромена Роллана.

Более всего этот резчик любил деревянную скульптуру, панно из цельного дерева, то есть работы наиболее сложные, драгоценные.

Да и Пьер Дегейтер на первое место в своей жизни ставил не музыку, не увлечение песнями, а именно потомственное ремесло. Сперва ремесло, а потом уже – песня!

Мне лично Пьер Дегейтер сетовал на то, что, к сожалению, исчезает на глазах искусство старой Фландрии. Мебель становится фабричной, стираются черты индивидуальности. А если, мол, и появляется что-то ручное, то это бесконечные каски, щиты, копья да секиры. Очень старика удручала такая милитаризации мебели!

Вся семья Дегейтеров высоко несла знамя своего наследственного искусства. Брат Эдмонд как-то обмолвился о Пьере: «Если бы он стал совершенствовать своё мастерство, то, может быть, со временем не было бы равного ему мебельщика». Но на пути к такому всепоглощающему совершенству перед Пьером стояла музыка.

В молодости Пьер – типичный подмастерье, вобравший в себя традиции французских цеховых организаций и обычаев.

Вот как мне говорил о своём ремесле Пьер Дегейтер:

«Берёшь кусок дерева, упругий, нежный и плотный. Любуешься им, определяешь его назначение. Потом идёшь на склад за красивой, грациозной трехдюймовой доской…».

Мне он сказал, что в самые горькие минуты своей жизни мечтал очутиться в девственном лесу, где множество прекрасных деревьев, под кожей шершавой и атласной которых таится их чудодейственная душа.

А потом, всё более воодушевляясь, Пьер Дегейтер вспоминал о каких-то, вероятно, наиболее дорогих для него как художника заказах:

«Вот представьте себе! Получаю я заказ нарезной шкаф с подставцем. Искусство – это наш домашний бог! Мы все на него молимся. Для этого шкафа я сделаю две большие резные филенки. На одной будет нимфа, опирающаяся коленом в шею мохнатой львицы, на другой – виноградная гроздь, персиковые плоды и цветущие лианы…».

Но такие заказы не были частыми! Приходилось делать и подёнщину. То, что шло на повседневный рынок, отстояло от настоящего искусства гораздо дальше. В большом почёте в буржуазных семьях были оленьи рога. Но охота для мелкой буржуазии, тем более – оленья, во Франции была слишком дорогой, почти недоступной, и тогда шли на бойкий рынок созданные мастерами-резчиками *деревянные* рога. Что делать! Приходилось выполнять и такую работу.

Вообще, товарищи, я бы попросил *всех* вас перечитать роман Ромена Роллана «Кола Брюньон». Он нам очень поможет в работе над фильмом!

Из пород деревьев Пьер особенно любил грушу. Она – прекрасный материал для деревянной скульптуры. Работать с таким деревом для Пьера было подлинным удовольствием. Уже на склоне лет он с гордостью показывал гостям диплом, выданные ему за изящную поделку почти полвека назад.

Меня спрашивали, был ли кто-нибудь для Дегейтера образцом и авторитетом в его ремесле. Как мне лично помнится из разговора с Пьером Дегейтером, себе за образец он брал рамы знаменитого *Брусталоне,* которого называли Микеланджело резьбы по дереву.

Брусталоне работал со знаменитым *Франсуа Жакобом*, тоже известным резчиком по дереву, создавшим известный стиль мебели, получивший впоследствии его имя.

Во Франции есть два известных стиля мебели, которые особенно славились: *стиль «жакоб»* и *стиль «булль»*. Различие в стилях в том, что Булль применял в отделке и орнаментике и металл, оформляя столики бронзой. А Жакоб использовал для орнаментов и отделки перламутр, а главное – куски цветного дерева вроде бука, тиса, граба и дуба.

Стиль Жакоба был тем образцом, которому следовало большинство мастеров мебели Лилля, бывших в течение столетий *королевскими мебельщиками.* Именно Лилль снабжал мебелью дворцы Тюильри и Версаль.

Пьер Дегейтер был одним из мастеров «эбенистерии», чем он особенно гордился. Напомню, что «*эбенистерия» – это работы из чёрного дерева.*

А теперь несколько замечаний относительно характера мелкого производства в Лилле. В Лилле было множество мелких и средних предприятий кустарного типа. Работали и в мастерской, и у себя дома. Выдача работ на дом была своеобразным придатком к фабрике и мануфактуре. Этот ремесленный пролетариат сильно тяготел к социалистической партии. Ведь всё время проходила упорная, почти незаметная порою борьба этих групп ремесленного пролетариата с предпринимателями. Эта борьба проходила против тенденции предпринимателей объединять, укрупнять, подчинять себе эти маленькие мастерские. Мастера и подмастерья хотели сохранить за собою старые традиции цехов. Они не хотели идти к чужому станку, противились механизации производства. Им хотелось быть мастерами, художниками, а не наёмными рабочими.

И вот в результате – с одной стороны *стачка*, с другой – *локаут.* Радикальная социалистическая партия, или реформистская, как ее называли, то есть, так называемые *«жёлтые»* социалисты стояли между этими двумя силами.

Между прочим, именно с севера Франции и пришло это название – *«жёлтые».* Происхождение слова, ставшего термином, такое. В городе Крезо собралось своеобразное ЦК реформистской партии, собрания проходили в *двухэтажном домике, окрашенном в жёлтый цвет.* Так и вошло в историю, науку и политику это сочетание.

Находясь в таком серединном положении, реформистская партия постоянно проводила демагогическую политику. С одной стороны, она боролась с империализмом при помощи попыток социальных реформ, а с другой стороны – постоянно сдерживала слишком резкие революционные устремления. Вожди этой партии мечтали стать членами парламента, их влекли тёплые местечки.

Мы ещё коснемся политической обстановки на севере Франции, а сейчас продолжим жизнеописание Дегейтера.

Эта семья раньше жила в Бельгии, в Генте. Накануне событий 1848 года промысловые района Бельгии выбрасывали излишек рабочей силы во Францию, которая тогда жила под знаком завоеваний колоний, расцвета века пара…

Во время немецко-французской войны юный Пьер попал в драгунский полк, в армию Наполеона *Малого,* как называли Наполеона III. Этого монарха Пьер ненавидел всей душой.

Служил Пьер недолго. Он был призван в 1870 году и после короткого обучения сразу же направлен на фронт. Со своей частью он побывал у Пауэна, на Сонскиххолмах, в боях под Мецом и был свидетелем разгрома «великой армии» под Седаном.

Вместе с разгромленными толпами французской армии он как дезертир пробирался домой с группой товарищей. В армии, по-видимому, он был одним из самых беспокойных солдат. Он сам с гордостью говорил, что именно в армии он прочитал Прудона. Там же он читал, изучал и пропагандировал Манифест Карла Маркса и Фридриха Энгельса. По пути к Лиллю Пьер вынужден был свернуть, так как дома были немцы. Каким-то образом в эти группы бредущих по дорогам французских солдат проникли газеты парижских коммунаров – *«Пьер Дюшен»* – знаменитые темпераментные листовки, которые вербовали добровольцев в Коммуну.

Рассылая свои листки по всей Франции, *«Пьер Дюшен»* призывал рабочих и солдат под знамена Коммуны. Номера газеты пестрели призывными заголовками: *«Записывайтесь в батальоны ребят Дюшена», «Дюшен»* – это отец бунтовщиков. Это некий своеобразный собирательный образ старого добродушного француза, родственного санкюлотам. А люди, которые сражались на баррикадах, назывались *сыновьями*, или *ребятами* отца Дюшена. Парижские коммунары широко использовали свою печатную трибуну формирования своей, пролетарской армии.

Я думаю, что путь Пьера Дегейтера от Седана до предместий Парижа продолжался очень долго. Транспортное хозяйство Франции в ту пору было разрушено. Добираться можно было *только пешком* даже на весьма большие расстояния. Да к тому же приходилось опасаться на своем пути и немцев, и французских жандармов, и просто разбойников, которых развелось на дорогах немало. Поменять одежду Пьер тогда не мог. Он так и оставался в потертой форме драгуна. Именно такой костюм у него был, и *именно в таком костюме он должен предстать перед нашими зрителями.* Но в экипировке этого драгуна была очень любопытная парадоксальная деталь. Я не знаю, сохранил ли он в пути своё ружьё, но то, что у него с собою был сверточек с резцами и долотами, это точно. Об этом мне Дегейтер говорил сам с гордостью. Вот, мол, *даже в такую пору* мне спасло жизнь моё ремесло! Он и кормился-то тем, что на фермах занимался мелкой столярной работой. Работа нравилась, была сделана в срок, и хозяева благодарили бродячего столяра в потёртой форме драгуна ночлегом и угощениями.

Иногда он за обеденным столом затягивал свои куплеты, чем радовал крестьянские души.

Короче говоря, шёл в Париж Пьер не прямой дорогой, а исколесил чуть ли не весь север Франции! Он и сам дословно говорил мне об этой странице своей жизни так:

«В период Парижской Коммуны я сделал попытку с некоторыми товарищами-солдатами прорваться в Париж и стать под знамена Коммуны. Но по пути я попал в плен к германской армии, осаждавшей Париж, и меня отправили домой на север Франции».

Правда есть правда. От неё никуда не денешься. Не всё в истории столь романтично, как бы нам хотелось! В таком сюжетном повороте судьбы тоже есть своя драматургия, но, конечно, было бы интереснее показать встречу Пьера с Потье и героями Коммуны. *Могла ли быть в принципе такая встреча?* Да, могла. Пьер Дегейтер не отрицал ее возможности, более того – считал её желанной для себя. Здесь есть о чем подумать.

Каков же облик Пьера в то время? Странствующий ремесленник, убеждённый антимонархист, антимилитарист. По убеждениям он ближе к социалистам, чем к другим течениям. Я не знаю, говорить об этом или нет, но поскольку разговор у нас очень доверительный, буду говорить обо всём, что думаю о своём герое как автор. Видимо, в ту пору во всяком случае Пьер убеждённый и националист. Антинемецкие его настроение очень сильны. Плен его унизил и озлобил. Но вопрос требует ещё своего изучения, осмысления.

В целом же Пьер принадлежал к тому поколению французов, трагедия которого заключалась в бессилии претворить свои идеи в массовые действия. Представим себе какие-то сюжетные переходы истории Пьера применительно к нашей истории. Я – как участник Гражданской войны – своими глазами видел, как такие группы идущих из немецкого плена солдат входили в красные партизанские отряды, вливались в регулярные части Красной Армии. А Пьер был окружён небольшой группой колеблющихся солдат. Их действия были нерешительными, их воля была ослаблена, ум недостаточно просвещён. Пьер выделялся среди них, но и он не смог быть агитатором-борцом, тем более не было у него военных талантов, данных командирских. Не тот характер! Но он *лично* смог бы геройски погибнуть на парижских баррикадах, если бы добрался до Парижа. Это в его характере. Но если бы он погиб, мир бы не узнал мелодии «Интернационала». *Посему благословим судьбу Пьера за то, что она такая, какой она была!*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.